

ВЛАДИМИР ЗЛОБИН

Волжский роман

Гул



Волжский роман

Владимир Злобин

Гул

«ВЕЧЕ»

2018

Злобин В.

Гул / В. Злобин — «ВЕЧЕ», 2018 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-7762-1

Июль 1921 года. Крестьянское восстание под руководством Антонова почти разгромлено. Выжившие антоновцы скрылись в лесах на юго-востоке Тамбовской губернии. За ними охотится «коммунистическая дружина» вместе с полковым комиссаром Олегом Мезенцевым. Он хочет взять повстанцев в плен, но у тех вдруг появляются враги посерьёзнее – банда одноглазого Тырышки. Тырышка противостоит всем, кто не слышит далёкий, таинственный гул. Этот гул манит, чарует, захватывает, заводит глубже в лес – туда, где властвуют не идеи и люди, а безначальная злоба бандита Тырышки...

ISBN 978-5-4484-7762-1

© Злобин В., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Глава I	5
Глава II	8
Глава III	11
Глава IV	12
Глава V	14
Глава VI	16
Глава VII	20
Глава VIII	24
Глава IX	30
Глава X	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Владимир Злобин

Гул

Глава I

Июль 1921 года

Странный гул стелется над Россией – то хрипит взбунтовавшийся город. Ворочает он механизмами, бьёт многопудовыми молотами. Дрожит город, а трудовой народ по улицам ходит, руками машет. Непривычно им, лишённым вериг, двигаться – всё норовят небу скулу своротить. Режет вышину заводская сирена. Проголодался город. Нельзя его не кормить, иначе потухнут домны, перестанет литься металл – как без снарядов мировое неравенство уничтожить?

Вот и хватают попов беременных, скопидомников и юнкеров. Был царский генерал, саблей охранявший грановитый капитал, стал краскомом, поклоняется коммуне-иконостасу. Вензельных орлов на звёздочки пустили: много звёздочек получилось, астрономам на века работы хватит. Колокол церковный обернул броненосец. Там зубовным скрежетом турбины ворочаются. То викинги революции, морской народ бескозырный, кушать хотят. Много припасов нужно, чтобы кругосветное плавание совершить – закрасить охрой все гавани, в каждом порту рудяной флаг поднять.

Но вот беда – нет хлеба, а город знать ничего не хочет, требует насытить оловянный желудок, и рыщет народ в поисках поганой собственности. Однажды ворвались красные люди в дом старого бога. Поймали шестикрылого серафима, не успевшего уплыть в эмиграцию. Повыдергали дефицитные перья, отнесли в канцелярию приказы выводить. Пухом железным подушки набили, чтобы боевые жёны во сне не ворочались. А одно перо послали Римскому Папе – чтобы, дурак, в жопу себе вставил. Ощипанного же серафима привели под белы ручки в заводскую столовую. Только как без хлеба кушать? Вот и выбивают алюминиевые ложки на столах морзянку – принимают её писари, обмакивают перья в голубую кровь. Сцедили те чернила из дворян и аристократов. Зря они рабочего человека тлём почитали.

На зов телеграмм пришли абреки с синих гор. Каурые степи прислали своих делегатов. Отрядили богатырей железные чудища, плавающие по морям. Грузится в вагоны винтовочный народ. Тут же вылетает из города бронепоезд. Искры, гудки, шум – засиделся чугунный парубок в депо, кушает с лопаты угольную икорку. Не хочет знать паровоз, что в банный день долго скрёбся и чесался город, чтобы добыть для котла драгоценные крошки. Мчит бронепоезд через леса и жжёные поля в край единоличников да спекулянтов. Везёт с собой злые буквы ЧОНА. Красные буквы, литера к литере. Готовы чоновцы вытрясти амбары, и даже кулацких мышей забрать – на опыты в большевистскую лабораторию.

В Тамбове бронепоезд отдохнул, залил станцию струёй мутной воды и подобрал на борт новых бойцов во главе с посланцем ГубЧека. Потянулся состав на юго-восток, в край лесов и болот, где ещё теплилось недобитое Антоновское восстание. Вдруг споткнулись восемь паровозных ног. Вздрыбились вагоны. Посыпалась с платформ жухлая солдатская ягода. Поскользнулся поезд на разобранном полотне. Когда улеглась пыль, из обломков поднялись, облепленные угольной кутёй, коммунисты.

Кто руку сломанную лелеет, кто голову бинтует. Разбирают товарищи завалы – не товар ищут, а друзей своих. Собираются солдатики в чёрные тучки, разбиваются на ручейки, и течёт поток к людским избам. Там мечутся в страхе огоньки, и тянет от деревеньки хлебом, жизнью.

А затихающий паровоз бил колёсами воздух. Тот сгустился до пара, который выпал дождём, и затух пожар. Над чугунным трупом плакал уцелевший машинист. Лишился рабо-

чий человек друга. Неведомый гул, выползший на поминки из синего тамбовского леса, мягко обнял безутешные плечи.

Комиссар Олег Романович Мезенцев сидел на открытой оружейной платформе и держался за лафет. Не от тряски спасался мужчина, а хотел перенять холод, чтобы успокоить разболевшуюся голову. Она у него была большая, вытянутая сверху вниз, прямо от светлых, почти белых волос до твёрдой квадратной челюсти. Комиссар вообще был большой, вытянутый и белый, как застывшая от резкого холода капля. Иногда зажимивал Мезенцев синий глаз, а другим, жгучим, как июльское небо, пристально глядел на красноармейцев. Будто уже доложили ему обо всех солдатских прегрешениях: про кур, в обход власти ошипанных, и частнособственническую самогонку.

– Ничего... Верикайте нас в обиду не даст, – шептались бойцы.

Евгений Витальевич Верикайте был легендарным командиром, пронесшимся на бронепоезде «Красный варяг» через всю Гражданскую. Солдатам не нравилось, что присматривать за их батькой прислали незнакомого человека. Они и сами глядели в оба. Чоновцы, набранные по деревням и городским окраинам, ещё не успели освоить премудрость интернационализма. Батяка-то батькой, однако была одна заковырка. Отчего любимый батяка носит женскую фамилию на балтийский лад? По каким таким законам командир бронепоезда – Верикайте, а не Верикайтис? Как ни старались, не могли объяснить разницу даже призванные в отряд варяги. Ну Верикайте, ну и что? В том двадцать первом году люди норки мышинные разрывали, чтобы драгоценные зерна выковырять. Это, пожалуй, поважнее будет. Не задумывался о женской фамилии командира и Олег Мезенцев. Он остужал об оружейный лафет свой белый череп. Дела, порученные военному комиссару в Тамбове, клонили больную голову в сон.

Евгений Витальевич сидел в штабном вагоне и изучал карту. Уж слишком зелёная была карта. Каждый лесной массив мог обернуться отрядом Антонова. Напирали зелёные пятна на крохотные серенькие городки, где сгущались растерянные красноармейцы. Евгений Витальевич нервно приставлял концы циркуля к точкам деревень – не ускользнет ли враг в соседнюю губернию?

Поезд дрогнул на стыке. Задрожала и карта. Почудилось, что лес пришёл в движение. Зелёные пятна прыгнули на обожжённые ладони и поползли по защитному френчу. Верикайте, ещё при Феврале командовавший только что сформированной латышской ротой, не мог испугаться такой глупости. Он лишь удивился, что смерть подкралась неожиданно, даже без воя снаряда. Краскома с силой хряпнуло о стенку вагона. Грохот опрокинул стол, купе завертелось, и циркуль, которым Евгений Витальевич мерил расстояние от контрреволюции до коммунизма, воткнулся ему в руку.

Поезд ещё сотрясали судороги, когда Мезенцев откопал командира под обломками штабного вагона. Плотное и плоское лицо разгладилось, замерло. Верикайте впал в беспамятство. Мезенцев действовал хладнокровно. Командовал так, как командовал бы сам Верикайте. Погибших сложили вместе, раненых погрузили на носилки. Солдаты смотрели на комиссара с уважением, как на того, кто мог бы передать вождя малого вождю большому: Верикайте – Ленину.

Мезенцев, построив уцелевших людей, оглядел поредевшее воинство. Больше для себя, чем для солдат, произнёс комиссар короткую речь:

– Наша миссия – высокая миссия. И хотя продразверстку уже ликвидировали, но не ликвидировали кулаков. А значит, есть лишний хлеб. Если есть лишний хлеб, значит, есть и те, кому его не хватает. Не хватает в городе, а излишек в деревне. Не дойдем до деревни – не добудем хлеба. Не добудем хлеба – рабочие останутся голодны и не смогут дать нам оружие. Не будет оружия – враги уничтожат Республику и всю нашу деревню. Командованием задано прибить в злобандитское село Паревка и выкурить из его окрестностей окопавшихся бандитов во главе с Антоновым. Поймаем его – восстанию конец. Уйдет – будет ещё долго баламутить край.

На близлежащей станции комиссар послал в Тамбов телеграмму. Он, Олег Романович Мезенцев, ввиду ранения военного начальника, принимает боевое командование ЧОНОм на себя. Ответ пришёл скоро. Губернский революционный комитет подтвердил силу приказа № 171: революционной тройке отныне подчинялись все советские учреждения и партийные организации на территории Кирсановского уезда. Ввиду чрезвычайных обстоятельств ревтройка имела право ареста, временной изоляции и расстрела лиц, обвиняемых в соучастии в бандитской шайке и вредительстве революционной власти. Граждан, отказывающихся назваться, полагалось расстреливать на месте. Оставленные дома бандитов – сжигать. За найденное в избе оружие – расстрел старшего работника в семье. Аналогичная мера – за укрывательство. Заложники изолировались в специальных лагерях. Один из них чоновцы проезжали на станции Сампур: оголодавшие люди понуро сидели за колючей проволокой.

Когда вошел ЧОН в соседнюю со станцией деревеньку, то всех мужиков построили у длинной, во всю улицу, канавы. Это местный энтузиаст, надышавшись социализма, задумал водопровод провести. Да толку – не нашлось для рва металла.

Мезенцев рассудил просто, но точно. Деревенька – ближайший населенный пункт к месту крушения. Антоновцы обязательно сюда заходили за провиантом и на разведку. Так как никто не донёс железнодорожной власти о готовящемся злодействе – виновны все. Комиссар, выстроив крестьян в линию, в третий раз объяснял, что если не выдадет мир антоновцев, группа заложников, набранная по принципу первый... второй... и ты, третий, подь, подь сюды, будет расстреляна. Однако крестьяне попались хорошие, крепкие. Никто не выдал деверя с кумом. Народец держался даже немножко надменно. Ишь, захотел на цугундер нас взять? Думаешь, так мы тебе всё и рассказали? А ты поди-ка докажи свою правоту.

Вот Олег Романович Мезенцев и доказал.

Отряд двинулся в сторону Паревки. На носилках в беспмятстве лежал Евгений Верикайте. Глупый Кирсановский уезд и знать не знал, что фамилию носил Верикайте неправильную, почему-то женскую, шиворот-навыворот. На странную фамилию у командира бронепоезда было одно тайное основание.

Глава II

Паревка расположилась на юго-востоке Тамбовщины, неподалеку от Саратовской губернии. Пугачевские места, лихие. До революции жило в старом богатом селе семь тысяч душ. Прилепилось оно задницей к холмам, где распушился барский сад, а другой край протянуло к реке Вороне. Река неширокая, метров шесть-восемь будет, но быстрая: зазеваясь – снесет стремниной. За рекой, когда-то отделявшей Русь от Орды, в зарослях красноголового татарника схоронились новые кочевники. Лошади у них сильные, обьеженные и злоба прежняя. Только глаза синенькие. Антоновцы засели в болотах и с ненавистью смотрели, как по их селу разгуливают незваные гости.

Была Паревка сердцем крестьянского мятежа, потому в оперативных сводках проходило село как злобандитское. Поделили весь Кирсановский уезд на сёла советские, нейтральные, бандитские и злостнобандитские. В злобандитских местах приказ № 171 действовал во всей строгости. Было отчего разозлиться. Густые паревские леса давали приют тысячам всадников. На влажных Змеиных лугах, что прилегали к речке Вороне, отъедались после долгих переходов кони. Сам Антонов ходил по селу, а народ звонил в колокола, играл на гармошке и ел пирожки из сбереженного зерна.

Однако война докатилась и до Паревки. Многожды разбивал Антонов противника, пока не укрепился тот вокруг села, вынудив отступить партизанскую армию к островку Кипец, что за Змеиными лугами. Там, окопавшись у реки, устроили антоновцы свой последний лагерь. Ни паревский гарнизон, ни повстанцы не хотели и не могли сойтись в открытом бою. Бюли перемирие, вместе выпасая на Змеиных лугах коней. Красные побаивались, что очередной выстрел всколыхнёт крестьянство и попрут на город с кольями не только мужики, но и бабы с ребятишками. Между ними Антонов и убежит. Ждали большевики обещанного резерва с химикатами, чтобы выкурить бандитов.

Антонову тоже было не с руки атаковать. Всего полторы тысячи осталось от восьми полнокровных полков, громивших большевиков по восточным уездам. Бабы, тайком приносившие из Паревки еду, крестили мужей, как будто в остывающих чугунах лежала не каша, а кутья. Пять раз на дню ожидался в Паревке конец света. Пронёсся слух, что жестоко расправился неведомый ЧОН с соседней деревушкой. Переполошились паревцы: что это за ЧОН? Помещики вернулись, что ли? Да нет, мелко как-то, разве человеческую силу ЧОНОм назовут? Не иначе конец света на Паревку идёт.

Но ЧОН, вступив в село, повела себя мирно. Даже местный гарнизон, состоящий из странной солянки комсомольцев, солдат, курсантов и бывших продотрядовцев, ничего кровавого не дождался.

Особенно миролюбиво вёл себя высокий и красивый комиссар. Он расквартировал пополнение и осведомился у командира боеучастка о текущем положении дел. Выяснилось, что легендарный Антонов находится буквально в паре вёрст от села и чуть ли не купается в Вороне с остатком своего воинства. На вопрос, почему же его до сих пор не изловили, паревские большевики ответили, что вождь повстанья тут же уйдёт в лес. Сил же, чтобы со всех сторон окружить Антонова, нет. Да и тронься с места, как Паревка в десятый раз забунтует, вырежет коммунистические ячейки и уйдёт в барские сады, вон гляньте на холмы – там густо, тоже никого не найдёшь.

– Теперь командование переходит к ревтройке, – сказал на это комиссар.

О Мезенцеве было известно мало, поговаривали, что он приплыл откуда-то с Севера. Знали – воевал: то ли плавал по Балтике в брюхе железной черепахи, то ли дышал галицийской пылью. Когда пошли красноармейцы в баню, стали золой себя скрести, вспучились по телу Мезенцева шрамы, похожие на запёкшиеся под кожей молнии. С недоверием косились на

командира голые красноармейцы. Сами они были тоненькие и худющие, до того остренькие, что даже штыком не проколешь – кость одна. Мезенцев смотрелся среди них великаном. Был у него ещё один шрам. Особенный, над правой бровью. Белый и тягучий. Как будто ткнули пальцем, чтобы лопнул глаз, да попали в твердую надбровную дугу, сломавшую чужой напор.

Мезенцев помылся, вытер сильное, жилистое тело и вышел на улицу, где распрямился во весь свой великий рост. Смотрясь в солнце, зачесал назад золотые волосы. Приладил к поясу наган и пошёл один, без страха, по селу. Из-за лопухов зыркали на комиссара девки. Тайком от родителей заглядывались они на широкую большевистскую спину. Не знали бабы, что лежало за душой Мезенцева воспоминание о женщине – тонкой, как игла. Когда с нежностью думал о ней комиссар, отступали головные боли. Может, поэтому был милостив Мезенцев к затаившейся в страхе Паревке? Или испытывал голубоглазый Мезенцев к толстозадым и носатым паревцам воинское презрение, как когда-то варяг к стелящейся по долу чуди и мери?

Паревка не была так уж беззащитна и миролюбива. К окраинным избам каждую ночь ползали лазутчики. В огородах, завернутые в холстину, сховали паревцы винтовочки – выкапывай вместе с картохой, когда жрать захочешь. Затаились по подворьям повстанцы. Кто-то стикал от Антонова к жинке под бок, кто-то был ранен и отлеживался у родни, а кто-то, как Гришка Селянский, выполнял важное нравственное задание.

Парень числился бандитом ещё при старом режиме. Успел в тюрьме погостить, откуда его выпустила февральская распутица. Справедливость ведь наступила. Но что делать развёсёлому парню, если хочется не мировой уравниловки, а быстрого коня? Тут уж не плуг в руки брать надо. Антонов, будучи в 1918 году начальником всей кирсановской милиции, разбил банду, где орудовал Гришка. Хотел было пристрелить конокрада и насильника, но тот купил жизнь, показав большой тайник с оружием. Антонов уже тогда зачем-то собирал винтовки и переправлял их в лесные сходы. Попритёршись друг к другу, молодые люди сроднились: оба имели представление о блатном мире и занимались экспроприациями; оба хотели чего-то большего, нежели жить в малиннике. Гришка, любивший вольность и фарт, принялся наводить Антонова на товарищей по ремеслу. Не была у Гришки душа шерстяная, просто не любил он людей, кто убивает от сухости мозга, без всякой идеи, мечты. Вот он, Гришка, терроризировал крестьян, потому что им конь нужен, чтобы землю ворошить, а дочка – чтобы её замуж выдать. Ему же они нужны, чтобы прославиться. Вот как Антонов. Гришка завидовал вождю, боялся и лип к Антонову, чувствуя, что тот может пообещать ему смысл жизни.

Александр Степанович поставил бандита командовать 8-м Пахотно-Угловским полком. Антоновские офицеры, прошедшие кто империалистическую, кто Гражданскую, от такого решения плевались, однако ничего поделать не могли: Гришка лихими атаками не раз сбивал дозоры красных. Удалой из Гришки Селянского получился атаман. Под горячую руку порой попадала не только коммунистическая шея, но и нехитрые крестьянские сбережения и такие же глупые женщины. Те, к слову, не всегда противились. Много на фронтах погибло мужей.

После весенних поражений 1921 года Гришка из повстанья дезертировал, укрывшись под ложными документами в Паревке. Здесь он ничем не прославился, разве что всем на радость удавил бывшего комбедовца.

– Пушай харчуетса, холера. – Мужики недавно узнали новое болезненное слово и полюбили им ругаться.

Хотя какой холерой был Гришка? Сызмальства называли чернявого, подвижного пострелка бабником. И неважно, что не было передних зубов: их, как говорил Гришка, выбили стражники в тюрьме. Без труда прилипал жиган к людям и к женщинам, интересуясь не только сладким имуществом, но и душой: вдруг кто суть жизни успел скопить?

Парень быстро втёрся в доверие к пришлым солдатикам и выяснил, сколько они привезли ружей, пушек, даже прознал про странные ящики с адамовой головой. Только к Мезенцеву боялся прилепиться Гришка. Хрустело галифе на жарком июльском солнце; медленно, как

автомат, поворачивал Мезенцев голову, иногда поднося к ней широкие ладони – поправлял мозговую резьбу. Страшный человек, непонятный. Ледышка.

В задумчивости мял Гришка вдовушку, у которой жил в Паревке, да размышлял, как можно убить Мезенцева. Выходило, что никак. Точнее, не с кем.

Разве что раскинулась по селу подпольная сеть социалистов-революционеров – Союз трудового крестьянства. Сидели там остатки городских эсеров, некогда самой многочисленной партии на Руси. Гришка с отвращением слушал полуинтеллигентские разговоры, где решалось, какой строй нужен России и как ловчее подбить мужика к топору. В перерывах помогал СТК деревне грамотой и народными вожаками. Крестьянин, известное дело, не знает, как ему за свободу сподручнее сражаться. Потому и нужно умных людей слушать. Этот же СТК выправил Селянскому документы демобилизованного красноармейца. Гришку это всё равно не успокаивало.

– И вообще тикать надо отсюда. – Гришка не выговаривал шипящие. – Возьмут да перестреляют. Вот спросят: чего же ты, молодой, не в армии? Ах вернулся? А где служил? Ба-а, так там у меня побратимы! Этого знаешь? Нет? А этого? И ты чего? Амба! И комиссар непонятный. Говорят, у него голова щёлкает и он пилюли жрет. Кто знает, до чего эта дылда додумается? Поситают, сто насы бабы месают, и обобсествит их.

Вдовушка, у которой жил Гришка, разводила руками. Глупая была баба, считающая, что и война неплохо, и волнения перенести можно, если ты в боках широка и мягка да каждый штык готова в печечке прокалить. До того вдовушка не соображала, что не побоялась бывшего антоновского командира на боку пригреть. А может, и не так глупа была толстушка – знала, что никто из местных на неё не донесет. Змеиные луга от Паревки близко, кому охота оттуда гостинцев получить?

– Чего хлебало открыла, – не унимался Гришка, – сказать нечего? Ты мне лучше открой, кто это у вас по большаку састает, хлам собирает? Я его суганул, а он без внимания.

– Это который агукает? Да это пришибленный наш, Гена. То тряпочку урвет, то железку. Уж не знаю, зачем ему. Может, в Ворону выбрасывает?

– И сто, дают? Железо же в цене. Вы же, сучье племя, из-за свиной сетины удавитесь.

– Пусть лучше полоумный всё подчистит, чем городские. Тем паче он всякий хлам берет. И взамен кланяется. Мужики бают, что нам потом заступка будет. Чего городской фельдшер сказал? Гена вам как адвокат перед Богом. Вот и дают. И я ему тряпку дала... Заагукал, миленький. Перекрестил меня, грешную.

Давно повадился забредать в село мужичок неопределенной наружности и неизвестного имени. Собирал по подворьям мусор, платил где погнутой копеейкой, где порванной собаками штаниной, а потом уходил из Паревки к реке Вороне. Было в юродивом так много странного даже для Гражданской войны, что никто особенно не роптал. Ну берёт блаженный человек ржавый гвоздь и обрывок ткани, так и бог с ним. Не корову же и не ржаной пуд. Ему важней. Бабки шептали, что на том свете на одну чашу весов положит Господь грехи человеческие, а на другую все те вещички, которые отдал паревец дурачку Гене. Перевесят они – попадет праведник в рай, а если нет – рухнет прямо в ад огненный, где ковалась большевистская рать и где Троцкий всем главный секретарь. Но агукающий Гена как будто имел на всё тайный план. Иногда искал он определённую вещь и отказывался от других подношений. Или особенно длинную вервь выпрашивал. Зачем, спрашивается, если ему всё равно?

– Тащит, – говорили уважительно мужики и понимающе переглядывались.

Дознавали умом, что не для личного обогащения брал дурак вещь, а для неизвестной коллективной пользы. Верилось скупым мужикам, что, собрав со всех по чуть-чуть, однажды изобретет юродивый что-то раз и навсегда полезное.

Глава III

– Пли!

Ходит, улыбается Илья Клубничкин. Больше своих пушек любит комбат сельских вдовушек. Катается от одной к другой, вся сладость на него налипает. Нравится Клубничкину миловаться с теми, кто без присмотра остался. Сам комбат погибели избежал, да и странно видеть мёртвым усатого, низенького, толстого человечка. Умирать должны молодые, честные и красивые, чтобы их лица можно было пересадить каменным обелискам. Или серые, измученные, слабые, которые настолько незаметны, что их никому не жалко. А такие, как Клубничкин, погибают мирно – лопаются, как спелая слива, от еды и пьянства.

– Пли!

Стреляли в глубь леса. Днём пушки переместили лагерь у реки Вороны. Кого-то вдолбило в песок, ещё больше снарядов засосала трясина, а остальные – и болванки, и крестьяне, и Антонов – рассеялись по камышам. Сколько ни искала пехота, как ни ворошили ил кавалерийские пики, антоновцы, потерпев быстрое и неизбежное поражение, переплыли Ворону и ушли в лес. И оттого, что стреляли из пушек в никуда и ни во что – как будто и не по людям вовсе, а по деревьям с галками, – бой выглядел страшнее обычного. Будто кричать от ранений должны были не люди, а разбитые в щепы деревья и не повстанцы должны были собирать вываливающиеся из животов кишки, а лоси и волки.

– Пли!

Не каленой картечью шельмуют лес. Летят в сине-зеленые дали снаряды с отравляющими газами. Стелется ядовитый туман по низинам – ищет спрятавшегося человека, а находит мышей и белок. Чоновцев дурман не страшит. Расчехлены противогазы, вислые хоботы в угольный кармашек заткнуты.

– Пли, братцы! Выкуривай контру!

Не знает Клубничкин, что в лесу от человеческого хлора ёжик погиб. Думает артиллерист о блинах, о вдовушке. Вчера она дала подержаться за большую, как шанежка, грудь. Не знает комбат и того, что из леса к батарее уже пополз жуткий, незнакомый гул. Он перетек через буреломы, переполнил овраги и выплеснулся на опушку. Недоволен лес, утёрся от стальных плевочков. Поплыл гул по стрележкам Вороны, изгваздался в болотце и зашумел по Змеиным лугам. Все ближе и ближе гул к человеку, вот-вот накроет батарею холодным земляным выдохом.

– Пли! Пли! Пли! И ещё раз!

Предвкушает, масляный блин, как закатится вечерком к вдовушке, как расскажет про свои подвиги, как запустит жирную рученьку под испачканные мукой юбки. И обязательно потащит вдову-раскладушку в бывшую усадьбу, чтобы овладеть бабой, как при старом режиме.

Сладко замечталось командиру, и он в последний раз приказал:

– Пли!

Глава IV

Паревка оживала. Поначалу село подобрало юбки и приготовилось к мести, помня, как с холмов, где стояла опустевшая барская усадьба, бросалась вниз антоновская конница. Она с гиканьем налетала на опешивший подразверсточный отряд и собирала в мешки для капусты отрубленные головушки. Ныне помещичий сад пустовал. Не гуляли в яблочных тенях эфирные дамы и больше не всхрапывали в вишнёвой засаде партизанские кони. Крестьяне потихоньку ходили в сады за дичающими плодами, все меньше пугаясь солдат, хрустящих дворянскими яблочками.

Привыкли и к комиссару.

Ходил он по селу широко, никого не боясь, будто родился в ближайшей будке. Нюх у него тоже был собачачий, и когда вздрагивали красивые римские ноздри, вздрагивала и вся Паревка. Боялась, что почует комиссар, под какой кабачковой грядой запрятан револьвер, где в речке Вороне лежат мешки с заветной мукой и на какой печке затаился антоновец. Но как будто плевать было комиссару. Один раз он действительно плюнул, только не в рожу – такого бы не позволило лицо Мезенцева, а в канаву, где червился то ли кулак, то ли дохлая кошка.

Ребятишки подходили к комиссару с изголодавшейся радостью и улыбками. Он отвечал спокойно, однако без радости и улыбки, возмещая телесное чувство перераспределением конфет из кармана галифе в грязные детские руки. Давал без цели и соблазна, не пытаясь обменять барбариску на чьих-нибудь родителей. Пару раз хмыкнул, сказал теплолюбивое осеннее слово, подул на выгоревшую голову-одуванчик. Из-за плетней, делая вид, что справляют нужду, следили за комиссаром бабы. Оправившись, они бежали в избы, где докладывали мужьям. Те, будто комиссар был в их безраздельной власти, тихо и зло гудели:

– Поглядеть надо... Подождем. – И «подождем» неуловимо превращалось в «подождем».

Ждал и Гришка. Ждал, когда оступится комиссар, зайдет за сарай покрасить струей доски или отправится через Змеиные луга искупаться в Вороне, вот тогда... Тогда Гришка Селянский колебался. Лучше всего было убить Мезенцева финкой, всадить веселый нож в такое сильное тело да провернуть несколько раз, точно кончился у комиссара завод. Был ещё у Гришки иностранной конструкции пистолет, который пел швейцарским соловьем. Вдобавок хранилось у Гришки за пазухой одно тюремное воспоминание. Залётный политический всё открывал в камере профессорский рот, будто Гришка туда писей тыкал. Надоедало это Грише – бил интеллигента. Не надоедало – тоже бил. Не понимал Селянский, как можно быть таким чудилой. Как можно носить очки, бородку и не знать, что такое святцы со шкерами? Вот и выбивал из учительшки жизнь. Плохое это было воспоминание, неудобное. Не принимали его в залог подпольные купчики. Не соглашались карточные дружки поставить на кон. Да и не накинешь память на шею вдовице: требовала бычья шея не удавки, а бус. Но когда увидел лихой человек Мезенцева, сразу понял, чем можно перебить прошлое. Достаточно нарезать из комиссара ремней, как сгинет из памяти интеллигентшика: унижение могучего человека приятней. Пухла от мыслей чернявая Гришкина голова. Не было бандиту покоя. Даже милуясь с толстухой, и, твёрдо пробиваясь к её шейке, думал Гриша, как убить Мезенцева.

– Гришенька, любимый, – шептал на тайных встречах антоновский лазутчик, – убей комиссара. Подкарауль и убей. А потом айда в лес, к нам в повстанье. Братец Антонов тебе все простит. И то, что ты сшукал, полк бросив, простит и воровскую твою душонку простит. А? Убей человека, Христом Богом прошу. Я тебя потом на своей кобыле покатаю.

– И кто там на болоте остался? Два трухлявых пня с цингой? – отвечал Гришка. – Скоро Антонов сам никто будет. Разобьёт его комиссар.

– Народец хорошо окопался, – шептал разведчик, – ждёт. У нас там славно. Повстанье живет как хочет! А даже если разобьют, Антонову ничего не будет. Он заговоренный, выживет!

Скличем новую армию, все амбары взад заберём. Будет у тебя не одна вдовушка, а три. Каждая толще другой, я их сам освобожденной мукой буду кормить... Ну, что скажешь, Гришенька?

– Ты откуда знаешь? Мы даже Тамбов, черти его дери, взять не смогли. Обосрались ещё на подходе. А есть на свете такой город Москва, он как десять Тамбовов!

Слово «Тамбовов» звучало пугающе, и разведчик отвечать убоился. То, что говорил Гришка, было правдой. Антоновщина, гремевшая по всей стране, вообще-то пылала по одному только Кирсановскому уезду, иногда перехлестываясь в Саратовскую губернию или подползая на севере к Моршанску. Если бы не эсеры, о подлых планах которых большевики кричали во всех газетах Республики, была бы антоновщина ещё одной крестьянской войнушкой. Главная партизанская победа – это взятие в апреле 1921 года двадцатитысячного промышленного села Рассказова, что в соседнем Тамбовском уезде. Взяли Рассказово на несколько часов, погрузили на подводы пушки и вино да укатали в лес праздновать победу. Поражение для большевиков чувствительное, но у них таких Рассказовов по всей стране сотни, а может, и тысячи – по одному на каждого повстанца.

– Гришенька, любчик ты мой, ну раз сам не хочешь к нам, то хоть коней моих найди! Чего тебе стоит? А я тебе патрончиков отсыплю! Увели, гады, коней... жить без них не хочу.

– Ну ты баляба, – через выбитые зубы сплюнул Гришка. – Вот и вся васа мужичья мечта – конь личный. Ссыте сыроко мыслить. Вот если бы ты мне автомобиль пригнал...

Но какая там машина! Теперь бы шкуру спасти! Главный удар повстанью нанесла отмена продразверстки. Как только узнали крестьяне, что на смену бандитам с ружьями приходит фиксированный продналог, так сразу же опустели атамановы полки. Вот-вот затаится сам Антонов. Поэтому покинул его Гришка. Поистрепалась в походах мечта. Вроде воевали, воевали, а толку? Может, у большевиков чего для души сыскать удастся? Как-никак побеждали по всей стране.

По старой памяти Гришка ещё встречался с антоновским связным. Покуривая в кулаке, конокрад-полководец объяснял, что окончательно покраснела Тамбовщина. Кончено народное восстание, отвоевались. Разведчик же звал с собой. Мужичок верил, что братья Антоновы, хоронящиеся вон за той кочкой, вновь соберут большую ватагу и всем наконец покажут.

– Что покажут? – спрашивал Гришка.

– А вот, – хитрился разведчик, – некто поезд им недавно навернул, а? Хорошо летели! Значится, теплится силушка...

– И чего дальше? – Когда надо было, Гришка становился рассудительным. – Так и будете рельсы лосядами гнуть? Сортир есё, может, подорвёте? Кончена война. Проиграли вы, сиволапы. И я вместе с вами проигрался.

– Это мы ещё пашмотрим... – цыкотал в траве мужик и уползал в чернь.

До смерти надоела Гришке крестьянская жизнь: с утра опять нужно было вставать на покос и ловить на себе простоволосые взгляды. Выдать не выдадут, бояться пока что антоновской мести, но и самому атаману осталось сроку с неделю. Вот-вот обрушатся большевики на болотный лагерь. Да и не к добру мягкость Мезенцева. Так с русским человеком не разговаривают. Паревцы потихоньку переставали уважать большевиков. Мужики поднимали на солдат брови и окали, а девки вились вокруг Мезенцева, точно пчелы, желая только, чтобы жалили не они, а он...

Мысль о комиссаре ожгла антоновца, и парень, зашипев, сорвался до дома. Там ждала пышная вдовушка. Она не любила думать, а любила выпечку и бандитские ручки Гришки.

Глава V

Федька Канюков привык поступать так же, как остальные, – пожимал плечами, кивал и не думал ничего особенного. Больше всего на свете походил Федька Канюков на кипяченую воду. Он был сиротой-комсомольцем семнадцати лет и работал на суконной фабрике в Рассказове. Там паренька мобилизовали в рабочий продотряд. Ещё с осени 1918 года эти отряды наводнили Тамбовскую губернию. Никого так сильно не ненавидели крестьяне, как продовольственное войско.

В продотряде Федьке свезло. Он не взламывал фальшивые стенки, чтобы достать оттуда схороненное зерно. Вся обязанность – сидеть на подводе с хлебом по пути в совхоз да целиться из винтовочки в урёму. Однажды в мелком кустарнике что-то зашевелилось, заурчало, конвой засадил туда горсть пуль – и всё улеглось. Больше Федька Канюков, прибывший в уже выдохшийся уезд, в боевых действиях не участвовал. Зерно складировалось в образцовом совхозе, а Федька на подводе возвращался в деревню охранять новую порцию ржи. И хотя хлеб под квитанцию у крестьян больше не отбирали, отряд Федьки в Паревке оставили. В качестве усиления местного гарнизона, который мог быть атакован из окружающих лесов и болот.

Так Федька Канюков застрял в Паревке. Паренёк ходил в караулы, лузгал семечки, согласно приказу помогал крестьянской бедноте бороться, на девок глядел, а они на него как-то не очень. Тяжелее всего было кряхтеть на бедняцкой запашке. Федьку запрягали вместо лошади, и он, по-коняжьему вздыхая, тащил плуг за собой. Теперь хлеба набрали силу, и неподалеку – лишь перевалить холмы и пересечь Змеиные луга – из-за них шёл бой. Федька не стал напрашиваться, как это заведено у мальчишек, в боевые порядки. Ему не хотелось погибнуть. Он предпочитал жить просто, не плестись позади, но и вперёд не бежать. Рассказовский рабочий знал: тех, кто сзади, забьют свои же, кто впереди – убьют чужие. После боя мальчишка смотрел на длинную колонну пленных и вздыхал. Его наверняка приставят конвоиром, а там, чего доброго, по дороге в Сампурский концлагерь лесные побратимы их и отобьют. Им свободу отобьют, а вот Федьке – жизнь.

Под вечер он ушёл бродить в барские сады. Солнце ещё не закатилось, и разлилась мгlistая, парная тишина. В ней слышался глухой, нарастающий в лесу гул, который ещё с утра почувствовал Федька. Комсомолец вспомнил, что и в его деревне, откуда он перебрался в Рассказово, закат был такой же мгlistый и густой. С голодухи пришлось устроиться на фабрику, где Федька протолкался пару лет, пока его, как лишний груз, не сбагрили по разнарядке в продотряд. Ладных рабочих жалко отдавать, производство встанет, а Принеси-Поддайкиных никто не считал. Продотрядовцев Федька не любил: жадные они были, ховали по мешкам добро и втихую им приторговывали. А вот красноармейцы доверяли парню коней, да и слоняться среди военных было интересней, чем возле заводчан, – тем лишь бы самогонки надуться. Пили для того, чтобы не вспоминать содеянное. Федьку успокаивало, что сам он чужие закрома не грабил, а только отвозил изъятые в совхоз.

На всякий случай Канюков старался видеть в происходящем больше хорошего. Даже в комсомол благоразумно вступил, когда на фабрику агитатор приехал. Раз власть народная, повторял за ним Федька, то всем хорошо должно быть. Мне вот хорошо. Не понимал только, почему на него, обычного паренька, порой так злобно тарасились из-за плетня такие же, как он, люди. На помощь пришёл полковой комиссар, объяснивший на политвечере, что это контрреволюционные, самые гнусные элементы из таблицы Менделеева. Канюков комиссара сразу зауважал, побаиваясь его роста и силы.

Из глубины сада донесся непонятный приглушенный звук:

– Аг! Аг! Аг, аг...

Средь вишнёвых деревьев показалась качающаяся фигура. Она уставилась на парня и требовательно спросила:

– Аг?

Это захлёбывался юродивый Гена, который что-то позабыл у барской усадьбы. Дурачок был кривым, горбатеньким, держащим мышинные лапки у гнутой груди. Из всех звуков, что может издать человек, полюбился бродяге обрывистый, нуждающийся в продолжении «аг». Иногда мужики, накрошив дурачку хлебных крошек, смотрели, как тот воробушком прыгает над угощением. Гадал народ, какому слову «аг» может служить началом. Так ничего и не смогли придумать.

– Аг!

Федька, не желая тревожить помешанного, хотел спуститься в село, но взгляд за что-то зацепился. В траве лежал располовиненный человек. Это был командующий батареей Клубничкин, которому Федька с утра отряжал лучших реквизированных коней. Клубничкин ещё пару часов назад жадно облизывал толстый рот, а теперь лежал, разбросав в траве кишки. Федька решил бежать до самого главного начальника, Евгения Верикайте, но вспомнил, что тот мучается в бреду. Или нужно было задержать Гену? Парень с сомнением посмотрел на дурачка, который был совершенно чист, тогда как всё вокруг было забрызгано кровью.

– Аг! Аг! Аг! – прокричал дурачок, схватил Канюкова за рукав и потянул в глубь сада.

Там загудело, будто яблонева опушка собралась сделать шаг вперёд. Движение передалось Гене, но с обратным свойством. Юродивый настырней потянул в кусты. Федька попятился, упал и, вырвавшись из неожиданно сильных объятий, побежал в село.

Когда в садах собрались командиры, Гена уже исчез. Последним без спешки пришёл комиссар. Он нёс свою голову в руках. Она болела. Комиссар некоторое время рассматривал убитого Клубничкина и, поморщившись, отвёл руку за перпендикулярную спину. Федька ждал, что сейчас его стегнут полупрезрительным окриком, станут расспрашивать, но Мезенцев молчал.

Неподалёку сгрудились крестьяне. С небольшой гордостью чувствовали паревцы, что вот-вот начнут уважать комиссара. Пора бы тому чуть пожечь вздорные пятки, бросить задиристых девок на сеновал, погубить, в конце концов, пару невинных душ.

Мезенцев спокойно отдал короткое распоряжение и удалился в село.

Глава VI

Тем утром за Паревкой грохотало. Мезенцев обрушился на окопавшихся за Змеиными лугами антоновцев. Артподготовка, бомбы с аэропланов и экспроприированное у царской армии «ура». Пулемётные команды подрезали камыши, а довершила дело конница. Потянулись в село пленные и раненые, но главари восстания сумели отстреляться и уйти в лес за Ворону. Мезенцев приказал телеграфировать на ближайшие станции, чтобы командиры боевых участков выслали конные разъезды для блокирования паревского леса. Вечером неизвестными был убит начальник артиллерийской батареи. Убит страшно, точно и не человеком: выгрызли у чоновца половину брюха.

У церкви собирался народ. Он собирал себя по кустам, малиннику, ямам да погребам: сильно разбросала народ Революция. Всем хотелось узнать, покончили ли большевики с неуловимым атаманом, которого, как поговаривали, сама ЧК боится – написала на Путиловские заводы, чтобы освященные Марксом цепи привезли, будущего пленника сковать. Но на паперть вместо Антонова взойшёл Мезенцев. Чистый и оттого ещё более вытянутый, стоял комиссар рядом с солдатами ещё одной колокольной.

Люди понемногу волновались. Слов Мезенцева ждали кулаки и редкая беднота. Ждал в толпе Гришка Селянский вместе с курносой девкой Акулиной. Всё-таки прилюдно водиться с вдовушкой нельзя – как люди посмотрят, он же её липовый сынок. Гришка подумал и нащупал среди девок молодуху. Ещё ждало почти севшее солнце, а в кармане у Гришки ждал спрятанный револьвер.

Попа Игнатия Захаровича Коровина большевики отменить не успели. Да священник и сам был готов себя отменить. Сначала ходили солдаты к попу плюшки из белой муки кушать. Закончилась мука – стали ходить дочерей щупать. Когда кончились и дочки (кто со стыда в Вороне утопился, кто замужился, положив руку на «Капитал»), стал побаиваться Коровин, как бы теперь служивые до Бога не докопались. Господь Саваоф на себя удар взять не сможет, мука и дочки кончились, значит, придётся ему, попу, за всю троицу отвечать. Поп вполне ожидаемо вертелся, и вот что неожиданно – вертелся не только ради себя. Конечно, Игнатий Захарович очень себя жалея, в то же время жалел и паревцев, которых старался защитить, выстраивая хоть какие-то отношения с быстро меняющейся властью. Однако на паперти волновало священника кое-что другое. Ещё днем ему передал серебряные часы Гришка Селянский. Чтобы раньше времени не решил поп сдать Гришку большевикам.

– Кровь, поди, на металле? – недоверчиво спросил Коровин.

– Не без того, – пожал плечами Гришка.

– Ох, грешно...

Скромно обрадовался Игнатий Захарович. Без греха ведь не покаешься, а без покаяния не спасешься, тем испокон веков и живёт народ на Руси. Примостившись на паперти, отец Игнатий тихо ругал себя за храбрость. При новой власти истинно верующие быстрее на небо попадали. А он ведь, всё-таки, из этих! Для получения проездного документа и ворованных часиков достаточно. Ах, нет чтобы сразу ускользнуть, как занес Гришка подарочек! Увы, грешным делом, принялся рассматривать, клацать крышечкой. Жаль было такую красоту от сердца отнимать! А когда наигрался, зажали попа солдаты.

– Тихо! – зычным голосом прокричал Мезенцев.

Крик напугал дремлющего у паперти дурачка. Его не будил ни гомон толпы, ни мат, ни солдатские плевочки, которые Гена во сне размазывал по лицу. А вот голос Мезенцева очень напугал. Встрепенулся юродивый, почуял неладное и заходил кругом, заглядывая с вопросом в прибывающие лица: «Аг?» Уже забыл Гена, что только что видел труп. Зато чувствовал к нему припарку. То ли предупредить народ хотел, то ли радовался за мужицкое счастье. Крестьяне

отмахивались. Отстань, дурень, не до тебя сейчас. Гена с ещё не высохшими на лице плёвочками лез на паперть, поближе к Игнатию Захаровичу, которому то сад окапывал, то огород полол, но солдаты брезгливо сталкивали помешанного вниз. Гена в очередной раз плюхнулся на землю и посмотрел оттуда на комиссара. Мезенцев выдержал мутный взгляд, ничего в нём не понял и снял звездатую фуражку. Ветер разбросал над бровями золотые волосы.

– Послушайте, граждане! Я буду говорить речь. Сегодня мы добились бандитов за селом, доказав силу советской власти. Спасли вас от бандитских поборов. И вот чем вы отплатили – в отместку убили нашего боевого товарища! Долго ходил я по вашему селу, присматривался. Хорошее село, богатое. Не понимаю я, как такое село могло стать злобандитским. Отряд с винтовкой всегда враг пахарю: что плуг против пули? Теперь продрозверстка заменена справедливым продналогом. Теперь большевик в деревню пришёл по совести. И как вы после этого можете антоновщину поддерживать? Разве не меняли бандиты у вас своих лошадей, оставляя замученных, худых, старых коней, беря взамен лучшей породы? Разве не разбойничали здесь, разве не портили девок? Или думаете, они ваш хлеб защитят? Почему же сегодня антоновцы не пожелали драться за ваши риги и ометы, а бросились наутёк? Потому что никогда кулаки за трудовика сражаться не думали.

Мужики меж собой повздыхали. Чего греха таить – разное бывало. Это только сопящий между ног Гена верит, что армия воздухом питается. Даже оттаявший отец Игнатий, нежно ласкающий серебряные часы, знал, что духом прокормиться нельзя. Припомнили крестьяне, как брали антоновцы лишний мешок овса или без спроса свернули голову курице. Конечно, редко это было открытым грабежом, не принуждали к оброку винтовкой, но ведь даешь всегда своё и всегда – чужому.

– А вы, – продолжал Мезенцев, – вы сами хороши, что ли? Чего вас жалеть? Вы правду вместо шей слопали. Соответствуете ли вы революции? Или напомнить, как вы принимали городских, которые несли на обмен последние свои вещи, а после, сменяв на пальто ведро картошки, догоняли гостя на окраине и кроили ему голову кистенем? Ради чего? Ради полпуда картохи? Так чего обижаться, когда мы у вас пуд зерна берем? Пшеничные вы мешки! Сивоусое племя! Скажите спасибо, что советская власть не выводит вас под корень, как надобно поступить за ваше безразличие к рабочей судьбе, за трусость и классовую лень... И Антонов вам был нужен, чтобы ещё хоть годик полежать на печке и лущить горох, откупаясь от бандитов то барашком, то младшим сыном, и не видеть, как ваш хлеб нужен стране.

Даже дурачок внимательно слушал комиссарскую речь. Её ждали, как только ЧОН занял село. Думали, выйдет городской молодец, начнёт привычно угрожать смертью, туз-наган вынет, тогда с ним можно конкретно потолковать. Крестьяне боялись Мезенцева оттого, что он не был им понятен, действовал не как большевик, не как расстрельное поле, а тихо и мирно, значит, чего угодно можно было от него ожидать. Крестьянин неопределённости не любит. Того и гляди, кожаный человек что-нибудь похуже понятной смерти выдумает. А вот теперь вроде как к делу вёл комиссар, поэтому сбежалось послушать его всё село.

– Что молчите? Сказать нечего? С Антоновым, поди, говорили! Но, может, не прав я? Кто по делу возразит?

В сердце говорил комиссар, как будто всю сознательную жизнь не тела у других людей отнимал, а был таким же, как паревцы, землепашцем. Что красные, что белые, что зелёные – не хотели крестьяне цветных полотнищ. Есть царь – ладно. Нет царя – тоже ладно. Жить на своей земле да чтобы никто не трогал – вот справедливый строй.

Гришка Селянский это понимал. Он морщился от грязноватых, потных тел, шоркающих его то по спине, то по бедру. Какая могла быть мечта у того, кто день ото дня полет грядку с морковкой? Селянский презирал землю. Нельзя любить то, на что мочишься. Однажды бандит увидел, как сеяли репу – мужик набирал в рот горсть семян и с шумом выплевывал её кругом. В воздухе повисала желтая взвесь и тонкая, как паутинка, слюнка. Любить это было нельзя.

– Или вы по-другому хотите поговорить? Чтобы не я с вами беседовал, а винтовки? Вы к этому привыкли? Русской власти хотите? Это мы вам рано или поздно устроим.

Селянский и сам был не прочь скосить крестьянскую ботву. Его интересовало, как бы себя тогда повели медлительные, гузноватые паревцы. Может быть, засуетились, сошлись, начали бы обсуждать, говорить, ругаться. Глядишь, и придумали бы чего – послать делегатов, составить наказ, посоветоваться с обществами соседних деревень. И так от отца к сыну, от отца к сыну. Гришка с трудом прогнал восхищение комиссаром. Очень уж напоминал Мезенцев того самого Антонова.

Припомнил Гришка, как Антонов выступал в Паревке с лафета музейной пушки, как объявил о конце продразверстки, как пообещал взять Тамбов и вернуть награбленное... Крестьяне плакали и лезли целовать атамановы руки. Гришка аж позеленел от отвращения: плакать следует из-за чего-то большого, а крестьяне рыдали над мешками с хлебом. Большевики были честнее, прямо говоря, что явились в деревню с позиции здорового мужского аппетита. Они творили зло, заранее о нем предупреждая: разлучали семьи, отбирали имущество, убивали. Всё по приказу, по заранее одобренному плану. Это Гришка полюбить мог.

– А со своим братом-крестьянином вы что творили? Что творили вы с беднотой? Как резали вы молодёжь, которую город прислал деревне на помощь? Хлеб ваш на крови замешан. На нашей крови.

Антоновцы приходили в деревню, выгоняли оттуда красных, вырезали комбеды, которые и не думали распускаться, уничтожали ревкомы и продразвёрсточные отряды. Становились на постой, и сельчане несли освободителям молока, мяса, пирожков с капустой. А попробуй не принеси, попробуй зажать поросенка в хате – долго ли тогда зелёному побагроветь? Потому ещё сильнее сжал револьвер Гришка: нельзя было перед смертью полюбить комиссара.

Тот уже заканчивал говорить:

– Поймите: может быть, они, антоновцы, и лучше – на некоторое время, но мы, большевики, здесь навсегда.

Толпа зашептала. Отец Игнатий, почуяв недоброе, помолился. Дурачок больше не агакал. Открыв рот, смотрел Гена на комиссара – то ли проглотить хотел, то ли попался к нему на крючок.

Чтобы никого не разочаровывать, Мезенцев поставил ультиматум:

– Посему властью, данной мне Республикой, я провожу черту. Или вы выдаёте засевших в селе бандитов, или я перестреляю всех вас как бешеных собак. Вот... у меня в патронташе сто двадцать смертей для вашего навозного племени. Мало будет – ещё со станции подвезут.

Народ, услышав знакомые слова, почувствовал себя хорошо. Мужики знали, что сразу никто их расстреливать не поведёт. Так никогда не делается. Попугают, дадут составить списки и выстроят в линию, но вот так, чтобы без разговоров и в ров – такого ещё не было. Мужики, кто поглаживая бороды, кто скрестив руки на груди, довольно молчали. Хорошо дело повёл комиссар, к торгу. Теперь можно и свою цену назвать.

– Или вы боитесь кого? – прищурился комиссар.

– А чего пугаться? – спросили из толпы не к месту ехидно.

– Тогда почему не выдаёте бандитов?

– Так нема таких.

– Повторяю... в последний... раз. Либо выдаёте бандитов – знаю же, стоят сейчас прямо передо мной... либо я выдаю вас земле. Отправитесь в Могилевскую губернию на вечный постой. Или как? Хотите, чтобы революционная тройка вернула вам на пару дней продразверстку? Или мало, что советская власть её отменила?

Солдаты, перестав плевать в Гену, поснимали с плеч винтовки. Штыки пока что смотрели в землю. Паревцы не торопились закладывать родственников и соседей. Почти каждая семья отдала восстанию по паре сыновей, и крестьяне не хотели легко сдаваться.

– По-хорошему не желаете... – вздохнул комиссар. – Гражданин поп, идите сюда.

Отец Игнатий затрясся, понимая, что сейчас произойдёт что-то очень плохое. Не будут к нему больше люди ходить с просьбой корову Богом полечить. Поп пожалел, что у него не осталось дочек, которыми можно было бы задобрить Мезенцева.

Комиссар, сузив синие глаза, попросил:

– Часики отдайте.

– Ч... что? – пролепетал Игнатий.

– Вы тикаете. У меня, знаете ли, из-за мигрени страшно обостренный слух.

– А-а... это! Так часы! Часики... серебряные...

Поп протянул часы. Он не мог понять, откуда комиссар узнал его тайну. Не мог же, в самом деле, услышать!

Мезенцев повертел механизм и безразлично, почти утомленно сказал:

– А вы знаете, что эти часы принадлежали убиенному сегодня Илье Клубничкину?

– К-ка-а-а-ак? – Отец Игнатий выдохнул из себя весь живот. – Ко-ко-о-огда?

– Час назад. Если часы взяли вы, мы вас расстреляем. Если не вы, то расстреляем виноватого, а вы ответите по закону. По-научному это называется диалектика. А?

– Право слово, да куда ж там... Ох, Господи!..

– Говорите!

Разумеется, Мезенцев не слышал, как тикают часы. Но комиссар на то и комиссар, чтобы иметь повсюду глаза и уши. Коровина через первого попавшегося мальчишку сдал Гришка. Он сунул посыльному алтын, а комиссар наградил мальчиша барбариской. Почему? Потому что Гришка долго-долго думал, да так ничего и не придумал. Убей комиссара – вырежут Паревку. Не убей – не вырежут, так накажут. К тому же Гришка чувствовал, что поп рано или поздно сдаст всех паревских антоновцев. Этого бывший командир 8-го Пахотно-Угловского допустить не мог. Но попа для Гришкиной мечты тоже было мало.

Поповья рука ткнулась в толпу. Если Мезенцев по новизне не мог понять, куда она показывает, то Гришка сразу почувствовал косые взгляды. Сзади встали два крупных мужика, ожидая команды схватить уголовного. Не нравился паревцам маленький атаманчик. Не нравился борзотой, щеголевато выбитыми зубами, связями с партизанами, которые сегодня антоновцы, а завтра снова конокрады и душегубы. А ещё не нравился мужикам Гришка из-за черных вихров, очень опасных для супружеской верности. В Паревке он, в отличие от вдовушки и Акулины, чужак, чего его выгораживать перед комиссаром? Хотя женщин тоже могли выдать почуявшие кровь мужики. Потаскухи всегда страдают в конце войны. Пока народ в сражениях погибал, гулены с неприятелем будущих врагов зачинали. А ещё носили подаренный ситец и кушали колбаску вместо лебеды. Такое никто простить не может.

Потому Гришка вышел вперёд и сказал:

– Я убил, дальсе сто? Тутосний юрод подтвердить может.

Дурачок, утирая с лица плевочки, довольно согласился:

– Аг!

Глава VII

Гришка бросил на землю заряженный револьвер. Не для красивого жеста, а потому что созрел в голове лихой план. Он сложился в мечту, которая и толкнула парня прямо под суровый комиссарский взгляд.

Вокруг зашушукались, будто почуяли, что захотел Гришка умереть за этот кривой, темноволосый народ. За оханье вдовушки, за испуг Акулины, за попика, который предал антоновца, так же как Гришка предал его. И за слезы юродивого тоже хотелось умереть. Бандит не так давно сильно избил дурака, и Гена очень переживал за судьбу товарища. Но тому на себя было наплевать. Пусть он умрёт бандитом, зато довольный Мезенцев на этом остановится, и не расстреляют глупый паревский народец, который зло толкал Гришку вперёд, словно он был причиной всех крестьянских бед. А то, что Мезенцев народишко расстреляет, Гришка не сомневался. Он разбирался в хороших людях. Не мог не расстрелять. Гришка бы расстрелял. Начал бы с попа. Сук надо кончать – бандит знал это, даже решившись на подвиг.

– Как вас зовут? – спросил комиссар.

– Сриска, – сплюнул бандит сквозь выбитые зубы. – Селянским кличут. Слыхали?

– Гришка, что ли? Не слышал. Расстрелять.

– Почему? – вскрикнула Акулина.

А вот вдовушка, которая тоже была в толпе, ничего не крикнула. Мезенцев посмотрел шрамом прямо в толпу.

– Как почему? Потому что Григорий – бандит, убийца, антоновец. Он зарезал нашего боевого товарища, а вы его укрывали. И если бы продолжили укрывать, мы бы по справедливой цене ликвидировали каждого десятого.

Гришка от радости чуть не подпрыгнул. Ага! Попался, комиссар! И тебя, машина, обмануть можно! Ха-ха! Значит, одного меня возьмут вместо скопа! Чернушное ликование про rvalось наружу:

– Да! Я бандит, я резал васу сволочь где только мог! Начинал с Тамбова, закончил в Расказово! Сколько в Вороне падали лесит! И эту суку я убил, потому сто он к моей женсине приставал! А Гриска Селянский никому не позволяет со своими бабами заигрывать! И никто меня не покрывал! Сам жил! Буду я с этими скотами тайной делиться!

Орущего от счастья Гришку волокли в сторону. Для вида он отбивался.

– Да стреляйте прямо здесь, у дороги, – зевнул кто-то из солдат.

Гришка заорал ещё сильнее. Лягался и дёргался он не для того, чтобы запомниться палачам, а потому что надеялся приковать к себе взгляд комиссара. Не хотел Гришка, чтобы тот задумчиво остановился на антоновцах, на членах эсеровского Трудового союза, на тех, кто хранит дома оружие, или вот даже на Акулине с дурачком. Вдруг и их поволокут в сторону, заламывая руки? К чему лишняя гибель? Не должны умирать маленькие люди. Они жить должны. Плюшки печь и ноги раздвигать перед новыми Гришками. Пусть сей расклад крестьян и не устраивает, но всё справедливо: кто широко живёт, тот смертью своей за разгул платит, а кому спину плетью греют, тот до старости в хлеву торчит.

Селянский запел блатную, выученную в тамбовском подполье песню, пересыпанную тоской по женской переднице. Даже невозмутимый комиссар поморщился. Плевать было Гришке, что запомнят его не отчаянным командиром 8-го Пахотно-Угловского полка, а вихлястым вором, который никак не хотел умирать. Главное, что помилуют сиволапых дураков, качающих сейчас грязными головами. Внезапно понял Гришка, что совершает большое Иисусово дело – спасает жизнь человеческую. Вспомнилось, как отец Игнатий, обильно окормляя антоновцев, повторял: «Нет боле счастья, кто жизнь положил за други своя». Радостно стало Гришке. Вот-вот своим трупом он близкую плоть спасет. Это раз. Два – продажный поп пойдёт вслед за ним.

Не успеет никого выдать. Три – бандит укусил за палец конвоира, отчего тот взвыл и ударил Гришку прикладом.

– Аг! Аг! Аг! – заверещал напуганный дурачок.

Мезенцев недоуменно осмотрел Гену. Плохой был дурачок, негодный для здания коммунизма. Лопатки вверх выпирают, точно ненужные крылья режутся. Спина выгнутая, но не в колесо – не приладить к будущим тракторам. Руки тоненькие, трясутся, нельзя ими копать в механизмах, те ласку любят. На лицо Гена тоже не вышел: дергающееся, чумазое, испуганное. Не лицо, а тюря. Нельзя поместить Гену в гущу рабочего люда – засмеют и затюкают. Вот хотя бы за агаканье. Чего агакать, когда вся Россия охает?

– Аг!

Зарыдала какая-то баба. Оказалось – отец Игнатий, да и не плакал он, а взвыл, подняв глаза к небу. Знал, что нельзя брать часики, но как же от соблазна удержаться, когда за ним покаяние блещет? Вслед заголосили взаправдашние бабы, и, похрустев совестью, навалились на толпу красноармейцы. Мезенцев сжал руками голову.

Боль пронзила иглой, и от знакомого образа комиссар взбесился:

– Да что вы ревёте из-за этого дерьма? Вор, бандит, отщепенец! Вся антоновская свора состоит из подобного отребья! Оно пахать землю не хочет! Думает, что с револьвериком в кармане по жизни лучше нас с вами будет! А что антоновцы, что караванская банда, что Махно – нет никакой разницы. Все они грабители, мелкие собственники, лавочники лесные, голь, которую в труху надо... в кашу! И давить, давить! Сапогами! А коль нет сапог, ногами дави! Пока сок в землю не пойдёт! Когда напитает он первые всходы, тогда и выйдет из кулака польза!

Мезенцев замахал руками, показывая, как бы он бросал разного рода Гришек в паровозные топки или под лезвия сенокосилки. Селянский, обернувшись, плюнул в комиссара через зубную выбоину и захохотал. От мерзкого хохота у Мезенцева сильнее разболелась голова. Он застонал сквозь белые зубы и полез в карман за лекарством. Крышка с тугой силой отскочила от флакончика. Пилюли высыпались на политкомовскую руку ровненькие, одинаковые, словно из одного стручка. Химия мгновенно всосалась в кровь, побежала наперегонки с витаминами.

– Хорошо, – выдохнул Мезенцев.

Гришка, почувствовав, что комиссар успокаивается, крепко заматерился. Не за себя тревожился Гришка. В годы Гражданской недорого стоил фунт пиковой человечины. Скользнул взгляд по знакомому лицу в толпе, и вор со злым страхом понял, что там идёт напряженная умственная работа.

Слабенький паренек, тоже антоновец, подробно слушал речь комиссара. Знал, что неправду говорит большевик. Не были антоновцы разбойниками. Наоборот, Антонов самостоятельно отловил знаменитую караванскую банду и застрелил её главаря Бербешку. Бандит, наводивший ужас на хуторян нескольких уездов, был закопан у дороги, как и подобает бешеному псу. Антонов играючи сделал то, чего не смогли местные Советы. Отбитый у продотрядов хлеб антоновцы раздавали обратно. Да и куда его было в лесу девать? С собой, что ли, возить? Что до подношений, то крестьяне сами прикладывали к больным местам свиней и домашних уток, а порой румяных дочерей – пусть плоть потешат, пока голод её не изъел. Да, бывало насилие, а куда без него? Разве зауважали бы партизан крестьяне? Пока русский народ винтовочкой не припугнёшь, он тебя за человека считать не будет. Насилия же, въевшегося, как грязь под ногтями, среди повстанья не было. Как можно в своего брата стрелять? Своя же крестьянская кровь. А кто из антоновцев этого не понимал, того казнили, чтобы тень у плетня не вздумал украсть.

– Ну, чего телишься? Стреляй! – заорал Гришка. – Бей! Отведи душу!

Почти затихла у комиссара голова. Укачали её тонкие руки. Заметил Олег Романович, как перепуганно и почти желанно смотрят на него женщины: во все века любят они тех, от кого

смерть зависит. Гришка пожирал Мезенцева с задумчивой ненавистью, и это тоже понравилось комиссару. Протяжно было вокруг. Страшно. Хороший народ Карлу Марксу достался.

– А-а-а, чёртов сын! Стреляй!

Молоденькому антоновцу ненавистен был механический Мезенцев. Глупости и грубости говорил комиссар. Не понимал, что борется не с обыкновенными бандитами, а с народной армией. Сражалась она не ради хлеба, а за людскую свободу. Обидно было мальцу не из-за того, что вот-вот знакомого Гришку кончат, а что живет комиссар с неправильным убеждением. Того и гляди, крестьянский народ переубедит. И зачем же тогда люди гибли? Ах, что же Гришка наделал?! Зачем паясничал? Как он не понимает, что память важнее момента – нельзя кривляться себе на потеху. Он всё только испортил. Нужно было умереть красиво, с честью, никого не стесняясь. А Селянский так умереть не смог. По нему будут судить обо всех антоновцах, а этого допустить нельзя.

Мезенцев снова открыл стеклянную баночку. Всыпал в себя пилюли. Белые капсулы с грохотом прокатились по железному пищеводу. От жестяного звука качнулся колокол, гулко дрогнув чугунной щекой.

Оттолкнув от себя людей, словно боясь, что их может зацепить, безымянный паренек шагнул вперед:

– Неправда! Я тоже антоновец! И не был никогда бандитом и... честно жил! Людям помог! А бандиты – вы... вы... именем народным народ грабящие.

В животе отца Игнатия что-то лопнуло. Акулина пискнула и побелела, выполнив единственное женское предназначение. Рядок солдат, качнув штыками, повернул головы к храбренцу. Удовлетворенно агакнул Гена. Комиссар скрипнул сапогом. Оставалась ещё вдовушка, жадно запоминавшая чужие лица. Но это было совсем уж нехорошо.

И только Гришка, понимая, что весь его благородный порыв пошёл прахом, что мечту его люди не приняли, даже не заметили и потому изгадили, разочарованно протянул:

– О-о-ой... какой же ты дурак.

Мезенцев спокойно слушал молодого человека. Разве что чуть скривились уголки губ, указывая – да, верно, так и было задумано. Солнце окончательно село, порезавшись о горизонт, и Паревку залило тёмно-красным цветом. От церкви протянулась чёрная тень, накрывшая крестьян могильной плитой. Гена-дурачок забился под паперть и жалобно оттуда поскуливал.

Ползло к селу от реки Вороны что-то страшное.

– Расстреляйте меня! Расстреляйте меня за них! Они боятся это сказать, а я могу! И я говорю, что вы бандиты, сволочи... всех до нитки обобрали, вычерпали деревню. А вам всё мало! Мало! Так подавитесь мной! На, расстреливай! Меня! Вместе с Гришкой! Пусть запомнят люди, что не были мы бандитами!

Мезенцев исповедь принял. Отметил про себя, что молодой человек не лишён образования, видимо, связан с эсеровским подпольем. Это дело поправимое. Стоит от нужника ветру подуть – народничество быстро улетучивается. Не выжить России без большевиков, иначе разметает непогода её свободный сеновал. Или о чём там эсеры грезят? О федерации гумна и овина?

– Закончили?

– Да, – выдохнул мальчишка.

– Бандита повесить, а честного расстрелять, – приказал Мезенцев.

Через десять минут вонючий труп бросили на молодое тело. Увидев смерть, дурачок обхватил голову руками и с воем убежал прочь. Победно заулюлюкали красноармейцы, прогоняя подальше больную Русь. Но если бы оседлали солдаты коней да поскакали вслед за дураком, увидели бы, как с ходу, не останавливаясь, перебежал он речку Ворону. Даже штаны не замочил. Гена сам не понял, как оказался на другом берегу. Чудо произошло невидно и неслышно, как ему и положено происходить на русской равнине.

Нужно ли при этом говорить, что никого Гришка не убивал.
Стояло небо. Летели птицы.

Глава VIII

Кони уводили антоновцев в глубь леса.

Животные ещё куда-то тянулись, шли к зелёной жизни и тащили на поводу уставших людей.

Днём повстанцам нанесли последнее поражение. На острове Кипец, что от Паревки в паре верст, если идти через Змеиные луга, разбили антоновцы болотный лагерь. Туда утром из Паревки приполз разведчик – страшный, совсем олесевший мужик. Ему так понравилось быть жуком, что он несколько минут елозил по лагерю, не желая превращаться в человека. Наконец встал, отряхнулся, повернул лицо и разжал рот:

– Сила у них большая, нам не совладать. Штыков с тыщу будет окромя пушечек. Всего батарея, но со злыми снарядами. К винтовкам полная казна. Пьянства нема. Дисциплина, мать её за ногу. Ждут, коды нас додают, чтобы по домам блины трескать.

Братья Антоновы хмуро слушали донесение. Легендарный командир осунулся, высох, болел тяжёлой раной. Партизаны старались отдать вождю побольше своего тепла – невзначай бросали на командира заботливый взгляд. Брат Антонова Дмитрий, поэт и мечтатель, прислонился к родственному плечу. Окончательно срослись Антоновы в тамбовских близнецов, которым не убежать от большевиков: мешают спутавшиеся ножки. Они и умрут вместе. Попытаются с боем вырваться из окружения, в которое попадут в деревне Нижний Шибрый, и будут застрелены на околице.

– Кикин, кто командует? – устало спросил старший Антонов. – Переведенцев?

Вновь схлестнуться с Переведенцевым никто не хотел. Лютый был противник, которого сильно уважали антоновцы. Он воевал с ними так же, как братья тягались с большевиками, – лихими кавалерийскими наскоками и ожесточенной рукопашной. Носил Переведенцев на груди четыре Георгиевских креста – теперь хотел столько же красных орденов. Нещадно трепал полк Переведенцева антоновские рати, но никак не мог загнать их в угол. Теперь угол был, а вот Переведенцева, на счастье недобитков, откомандировали в другой уезд.

– Незнакомая рожа, комиссарская.

– Комиссар? Командира убили, что ли? Это кого?

– Два дня назад пустили под откос поезд. Там их вожак, Верикайте, головку и свернул. Теперь лежит в беспамятстве. Все ищет! Как будто потерял! Руками простыню загребают.

– Ха! – изумился Антонов. – Глядишь ты, братка, окромя нас народ воюет. Живём! А чего Верикайте – баба, что ли? Амазонка?

– Амазонка? – Кикин не поверил новому слову. – Вроде ба мужик.

Он хотел уползти в траву, чтобы там цыкотать, однако принуждён был докладывать далее:

– Большевичка Мезенцев зовут. Приметный командир. Глаза голубые, волосы золотые. Пряничный человек. И на жида не похож. Бабы за ним ыть-ыть... ходят!

– Да, похоже, у тебя самого бабы давно не было! – хохотнули мужики.

Кикин обнажил чёрный рот и как следует пожевал шуточку. Понравилась, не стал отвечать. Зато подошла к разведчику и ткнулась в плечо беременная кобыла, которую он давным-давно увёл в лес. В прошлой жизни Тимофей Павлович Кикин был зажиточным паревским крестьянином. Запахивал многие десятины, имел коней и коров. Паревка слыла богатым селом, но Кикин был богат даже по паревским меркам. От подразверстки Кикин ушёл в повстанье, куда переправил почти всё своё стадо и капитал. Дом в Паревке сожгли, семью посадили в концлагерь, февральскую запашку, перешедшую от барина к мироедам, раздали голодающим батракам. Партизанская жизнь проела кубышку с деньгами, спасенные было кони протёрлись под упругими антоновскими шенкелями, и остался Тимофей Кикин с последней

своей кобылой. Её успел обрюхатить белый жеребец самого Антонова, что Тимофей Павлович воспринял с большой надеждой.

– Милая моя брюшина, – Кикин с удовольствием гладил пузатую скотину, – не разрожайся раньше времени, потерпи. Будет у меня большой табун, и ты в нём главная красавица.

– Эй, Кикин, – прервал мечты Антонов, – думаешь, раз мой конь твою кобылу покрыл, мы теперь родня? Отвечай как положено! Что там Гришка, сукин сын, мести не боится? Али возвратиться надумал?

– Не любит он нас. Хочет в самоволке порешить комиссара.

– Ясно, – сухо сказал Антонов. – Порешит – хорошо будет. Всё ему прощу тогда. И дезертирство, и разбой. Что думаете, братки? Выдюжим сегодня, если этот Мезенцев на нас пойдёт?

– С божьей помощью, – раздался грудной голос.

Елисей Силыч Гервасий, человек старой веры, пришёл на восстание поздно, когда у его фамилии отобрали суконные фабрики в селе Рассказове. Ладно бы только станки взяли, но нет – прихватили и отца. Человеком тот был строгим, хотя людей не обижал. Защищал рабочих перед механическим беззаконием: получку вовремя платил, лечение обеспечивал, избывательню открыл, однако всё равно отыскалась в старообрядческой бороде контрреволюция. Елисей Силыч сбежал от смерти в соседний Кирсановский уезд, где, по слухам, готовилось восстание. И не прогадал. Воевал в отряде Антонова, заряжая молитвой винтовку.

– Бог дал – Бог взял, – говорил Елисей Силыч. – При Никоне мы в леса ушли, теперь вот вновь туда возвращаемся. А богатство? Тю, плюй на него, забудь. За веру семья моя уже пострадала, осталось за неё посражаться. Как завещал Аввакум: сильный – сражайся, слаб – беги, совсем ни рыба ни мясо – так хотя бы в душе не покоряйся.

Бытовал Елисей Силыч в одиночку. Это был ещё не старый, крепкий мужик с густой бородой. Тело имел плотное, как дубовая бочка. Постучишь по животу – глухое эхо пойдёт. Говорил старовер почти всегда не по делу, больше для себя, чем для общественной пользы. Всё рассказывал про последние времена, Четьи-Минеи, пришествие Антихриста, заветы Ветхий и Новый. А надобно мужичкам про капустку послушать, где коровку дойную достать, самогона, патронов маслених и девку такую же. Не был Елисей Силыч духовником воинства: слишком много приткнулось к нему законных попов, косившихся на старообрядца никонианским взглядом. Он брёл с антоновцами сам по себе, сражаясь за только ему ведомый подвиг. У него даже был свой котелок и своя посуда, которой он ни с кем не делился. «С миром не кушаю», – отбрыкивался старовер.

– Вот заладил... Бог, Бог! – зашептал Кикин. – Да разве бы Бог допустил, чтобы у меня земли и скот забрали? У меня, кто их своим потом полил?! У меня, кто отцу Игнатию лучшие говяжьи ломти носил? Я мужик грамотный, книжки почитывал. По Библии, мне старцы прохожие толковали, мясо Богу угоднее всякого злака. Так почему моё страдает? Почему не их?

Елисей Силыч тяжело посмотрел на чернявого разведчика. Товарищи по оружию были совсем не похожи, словно происходили из разного племени. Светлый, голубоглазый Елисей Силыч, крупный, породистый мужчина, и тёмный, растущий вниз, к земле, человек с быстрыми ручками и стрекозиным оком. Поставь таких перед учёным британцем – тот рассудит: «Сие два разных народа, каждый своего промысла держится».

– Я вот, грешным делом, сомневался, что Бог есть. Прости меня, Господи, неразумного. Всё у меня было... и семья, и богатство, и уважение. А потом раз – и всё отняли. И так легко на душе стало. Не потому, что тятя погибший тяготил – упаси боже! – но ясно помыслилось, что есть Бог. От него и закон и беззаконие. Всё по Его воле. Что коммунисты сами по себе? Тю, такая же глина, как и мы. Только в огонь попала. А мы его сторонились. Вот и страдаем. Боишься огня, Тимофей Павлович? Боишься? Вот то-то и оно. А я не боюсь. Нечего там бояться.

– И её, – Кикин ткнул в кобылу, – её тоже в огонь? Где ж это видано, чтобы беременную бабу – да на войну?!

– Не про войну я, Тимофей Павлович. Я про огонь толкую. А кобылу ты отпусти, – посоветовал Елисей Силыч, – пусть приткнется к новому хозяину.

– Моя кобыла, что хочу, то и делаю!

– Погубишь скотину.

– Погублю! Но им не отдам.

Старовер хмыкнул в бороду:

– Эко тебя Бог испытывает – кобылой!

– Ась?

– Кого железом, кого кровью, у кого тятю отбирает, – со странной гордостью сказал Елисей Силыч, – а тебя вот... кобылой испытывает.

– Испытывает, значит? – спросили со стороны.

– Сейчас тебе Жеводанушка все объяснит! – обрадовался Кикин.

Виктор Игоревич Жеводанов был самым настоящим царским офицером. Родился и вырос в Тамбове. Произведенным в чин оказался не на Дону, а ещё до Германской войны. Её он пролазил на брюхе, туда же был дважды ранен. Прицепился к тамбовским лесам Жеводанов после Мамонтовского рейда. Легендарный генерал в 1919 году как следует прочесал красные тылы и захватил много добычи. Жеводанов тогда отстал от эскадрона и вынужденно затерялся в Кирсановской глубинке. С ним осталась и пара калмыков, до того разжиревших от войны, что брызгали невысоких степных лошадок духами. Богатый край понравился калмыкам больше, чем белое дело. Жеводанов не без удовольствия застрелил степняков, по старой памяти налетающих на освобождаемые деревни, и дождался создания централизованной повстанческой армии с погонами. Служил Виктор Игоревич в так называемом «Синем полку» с небесного цвета формой. Не было в армии Антонова полка лютее. Там, где проходил Синий полк, оставались лежать коммунисты с разодранными глотками. Воевал Жеводанов без стесняющих обстоятельств, ибо унтер-офицеры у Антонова были наперечёт. Жеводанова даже хотели поставить командовать всем полком, но он предпочёл довольствоваться эскадронам.

– Чего молчишь, святоша? – Офицер недолюбливал Елисея Силыча за чтение моралей. – Ты и правда думаешь, что мы сидим по уши в болоте, без еды и снарядов, зато с детьми и женщинами, потому что нас твой Бог испытывает?

В воздухе зудела мошкара. От досок, брошенных в мочажину, пахло едкими испражнениями. Плакали детишки, и запаршивевшие матери совали в грязные ротки травяную тюрю. Беженцы набились в полузатопленные землянки, где на осиновых нарах доходили больные тифом. Инфекцию подхватили от болотной водицы, и лагерь удушливо цвёл оранжевыми разводами. Островок Кипец укрылся посреди Вороны, где река разливалась и заболачивала местность, поросшую кочками, камышом, осокой, ивами, клёном, тиной. Без проводников пройти через этот топкий лабиринт было невозможно.

В болоте антоновцы стояли лагерем уже вторую неделю. Елисей Силыч успел связать из камыша и рогоза молельный дом, куда смешно вползал на коленях. Жеводанову нравилось разглядывать камышовый купол, который вместо позолоты пушился сухими перышками. В свой храм Елисей Силыч никого не пускал. Да и войско причаститься рогозом не спешило. Вместо молитвы мужики подрубали болотные кочки и выбирали из них землю. Можно было залезть в кочку, накинуть сверху колпак и пересидеть лихие времена. «Мурашимся», – называл это Жеводанов.

Офицер взгромоздился на подводу с заплесневелой мукой и через бинокль смотрел в сторону Паревки. Там что-то шевелилось. Оскалился вояка: нравилась ему сладость предстоящего боя. Особенно нравилось Виктору Игоревичу, что победить в лесной войне было нельзя. После успешного сражения, когда трупы ещё парили живым духом, Жеводанов вдруг вспо-

минал, что стратегически восстание обречено, и от радости страшно клацал зубами. Оглядывая торжествующих крестьян, верящих, что сотня перебитых красноармейцев спасёт их зерно, Жеводанов злорадственно хохотал. Смотрящие в разные стороны усы кололи воздух. Клацали вставленные железные зубы. Поначалу Жеводанову было совсем невесело воевать с красными. Он полагал, что Добровольческой армии вполне по силам выиграть войну, а значит, ничего интересного в ней быть не может. Интересно там, где ничего уже нельзя исправить, где человеку противостояла не армия с пушками и аэропланами, а бесчисленная силища, от которой по груди пробегали мурашки. Оставалось надеяться на себя и тем производить чудо. Втайне, когда сражаться будет уже не вмоготу, ожидал Жеводанов то ли сошествия Христа, то ли ещё чего спасительного, что явиться может только тогда, когда всякая надежда вышла вон.

– Идут? – тихо спросил подползший Кикин.

Он был весь в ряске и вонял болотом. Когда у Тимофея Павловича спрашивали, зачем он постоянно ползает, Кикин отвечал, что так землю шупает. Присматривает на будущее самое вкусное местечко.

– Идут, – кивнул Жеводанов. – Пусть играют тревогу.

– А может... – Кикин облизал губы. – Может, в леса уйти? Что мы против них?

Тимофей Павлович не был трусом, но первым отрыл спасительную кочку и даже попытался в травяной храм заползти. Так, на всякий случай. Вдруг там Бога прячут? Из храма Кикина вытащили, обругали. Тогда Кикин пополз в Паревку, где выискивал остатки имущества. Было у мужичка частнособственническое чутье. Кикин понимал, что лучше срубить камышовую тростинку, переплыть Ворону и уйти в непролазный лес, нежели принять заранее проигранный бой. А в лесу и с силами собраться можно, и поелозить хребтом о пень, и никто не найдет там ни повстанье, ни баб с детишками, ни беременную кобылу. За такую расчетливость Жеводанов и презирал крестьян. Офицер считал, что воевать землепашцы пошли лишь из-за веры в победу, тогда как, знай с самого начала, что восстание обречено, никогда бы не слезли с печи.

– Гришку, говоришь, видел в Паревке? – спросил Виктор Игоревич.

– Агась.

– И как он?

– Хорохорится полкан.

– Не видел ты настоящих полковников. Они бы Гришку на гауптвахте стноили. Он ещё большевикам послужит, помани моё слово. Грязь, а не человек.

– А хоть бы и грязь, – возразил Кикин, – я тоже сызмальства в грязи копался. Всё богатство моё из грязи сделано. И что с того? Я так жизнь понял. Я тепереча вам, головачам, помочь могу. Хотите? Говнеца бы вам, офицеры, в руки накласть и за шиворот. Желаете рай земной? Ляг на землю, пошпоркайся об неё, засунь уд срамной в мышиную норку – жизнь в тебя и войдёт.

– Откуда же ты к нам приполз, Кикин? – удивлённо присвистнул Жеводанов и засмеялся. Во рту блеснул металл. Кикин, позабыв про мораль, впился в него взглядом.

Деревенским страшно хотелось узнать, кто вставил офицеру железные зубы. Виктор Игоревич отмалчивался, иногда подзадоривая публику игривым щелканьем. Каждый, кого Жеводанов вдруг начинал оскорблять, рассчитывал, что тот расскажет ему зубную правду. Но офицер с железным хохотком уходил от расспросов. Даже в спорах с Елисеем Силычем мужчина своей позиции не раскрывал.

– Пр-р-р-р-р, – стрекотнул Кикин. – Бают, с глузду съехал Тимофей Павлович, а я так моё шупаю. Люблю землю – жуть. За неё воюю. Жизнь проползаю, зато потом летать буду. Найду большевиков и сверху обгажу.

– Так устроен рай, – согласился Жеводанов.

Меж тем на Змеиных лугах разворачивалась артиллерия. Рядом танцевала конница. Сейчас бы шмальнуть по ней картечью! Только увязла в трясине единственная пушка, которую

выгребли из помещичьего музея. И гранат больше не было, и к пулемётам осталось по сотне-другой патронов, и патронов этих было чуть больше, чем самих людей.

Повстанцы, в том числе Жеводанов, Кикин, Елисей Силыч, мужички бандитского вида и простоватые молодые парни, вернулись в лагерь и ждали, что скажет Антонов. Его армия была рассеяна по всему Кирсановскому уезду, а часть скрылась в Саратовской губернии. Поражение следовало за поражением. С трудом сформированный штаб рассыпался. Сложная армейская структура, которую выстраивали кадровые офицеры, перестала существовать. Но Антонов ещё был тем самым вождем, который два года собирал и закапывал по губернии оружие. Он был тем бесшабашным революционером, которому по молодости расстрел заменили «Крестами». Там, стреноженный кандалами, он заломал борзых урок, решивших объездить новичка. Ведь не из-за погон, не из-за иерархии, не из-за штаба с картами восставшая Тамбовщина пришла к Антонову. Крестьяне попросили его возглавить повстанье, потому что Антонов был честным, смелым и гордым человеком. И этот человек по-прежнему был с ними. Здесь, на треклятом болоте. Пусть Антонов не скакал на белом коне штурмовать Тамбов, пусть опухал от болотного житья и сох от ранения, однако его рука ещё могла держать винтовку. И разве этого мало?

– Как там у нас поётся? Догорай, моя лучина? – слабо улыбнулся вождь.

От радости Жеводанов клацнул зубами. Он вообще любил клацать, представляя, как вырывает у мира часть предвечной тайны. Решил вояка, что сегодня ярким июльским полднем Виктору Игоревичу Жеводанову, одному из бесчисленных миллионов людей, в бесчисленный миллионный раз откроется, что же такое сражаться, когда кругом нет и намёка на надежду. Быть может, свершится настоящее чудо, которое превратит скучную солдатскую жизнь в сияющее житие? Тогда Виктор Игоревич посмотрит свысока на умников, начитавшихся книжек, и ещё посмотрит на бородатых любителей Псалтыря. Вот, высоколобикам не открылось, а Жеводанову, вопреки скрежету зубовному, повезло. Прав оказался солдафон с железной челюстью. Всего и требуется, что подставиться пуле. Поскорее умереть – вот первое желание русского человека. Вот чего хотел Жеводанов.

Рядом с офицером, винтовка к винтовке, прилёг Елисей Силыч:

– И не надейся. Ты суть самоубийца, а им прощения не отмерено. Ентого я не позволю.

– А ты, гордец, сел гузном на огурец, – рассмеялся офицер.

Старообрядец личное чудо нащупал, а мятежные стремления Жеводанова, невоцерковленные и нестрогие, не одобрял. Офицер хотел к раю наискоски выйти, а нужно было кружным путем, через посты и молитвы. В свою очередь, Виктор Игоревич не любил проповеди. Раз такой набожный, чего тогда фабриками владел? Что ж ты людей учить стал, когда нужда к стенке припёрла? Почему раньше молчал? Так и враждовали партизаны. Требовался Елисею Силычу и Жеводанову кто-то третий, чтобы их спор разрешить.

Бой был скоротечным. Вспахали песчаную отмель тупорылые снаряды. Сначала рвались они слишком далеко или вязли в болоте, потом стали ложиться кучно, один к одному. Из снарядов выскочила не шрапнель, а железный газ, ошкуривший легкие. Окутал он ладаном камышовую церквушку, заполз в землянки, причащая тифозных больных. Забили по визжащим бабам пулемёты, и, хоть шли очереди над головой, женщины, не выдержав, бросились вплавь. Обманчиво выглядела неширокая река Ворона. Потонуть не потонешь, но бурный поток вырывал привязанных к груди детей и навсегда уносил их вниз по течению. Там, поговаривали, лучшая жизнь обосновалась.

Улюлюкая, налетела на лагерь конница. Кто в омут рухнул, коню ноги переломав, кто на острогу насадился или был сбит винтовочным выстрелом, однако пробились эскадроны к болотному стойбищу. Началась рукопашная. Антонова с братом спасли густые заросли, где раненные вожак пересидели облаву.

Кикин, Гервасий, Жеводанов, как и многие другие, уцелели. Виктор Игоревич кричал, рвался под сабли, потрясал гранатой немецкой конструкции и хотел умереть среди безымян-

ного камыша. Там что-то гудело, звало к себе, и Жеводанов в порыве боя жадно разгребал осоку волосатыми руками. Вместо довлеющей силы в зарослях обнаружилась молодая голова в будёновке. Виктор Игоревич с наслаждением полоснул её по горлу. Когтистые руки окатило кровью. Гул зашептал справа, и офицер ринулся вбок. Там опрокинул всадника, которого утопил собственный конь. Гул заворочался сзади. Вояка сразу же бросился на зов. Так бы и сгинул в трясине Жеводанов, если бы его не оглушило близким разрывом.

Елисей Силыч увидел, как офицера вышвырнуло на отмель. Гервасий твёрдо знал, что за други своя нужно выкладывать жизнь, поэтому, как ни пытались его остановить, бросился на выручку. Старообрядец преодолел речку, взвалил на спину тяжеленного Жеводанова и кое-как выплыл к своим. Народ дивился: Елисея Силыча не посеколо чудом. Возможно, божьим.

Повстанцы окопались в прибрежном леску и замерли. Большевики собирали на болоте убитых, построили пленных в колонну, где и баб с ребятишками было полно, и здоровых мужиков. Только не было среди спасшихся Антонова. Он, дыша через трубочку, пару часов просидел под водой, пока красная пехота ковыряла штыками кочки. Иногда они вскрикивали и оттуда доставали окровавленного человека. Израненного вождя вытащил на берег родной брат. Отдышавшись, атаман приказал войску разделиться. Антонов ушёл к деревеньке Нижний Шибряй, прихватив самых верных товарищей. Полгода назад, на пике восстания, их было под сорок тысяч – теперь не набралось и двух десятков. Остальные решили выбираться лесом.

Опираясь на товарища, оглушённый Жеводанов оскалил вставленные зубы:

– Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Да, Елисеюшка?

В ответ стали рваться снаряды с газом: повстанцев выкуривали на берег. Елисей Силыч увлекал контуженного Жеводанова в глубь леса. За ними потянулись те, кто не хотел делать крюк в пятьдесят верст до Нижнего Шибряя, а желал поскорее добраться до родной избы. Всё ближе к реке подтягивалась ненавистная артиллерия, и ходил среди пушек мужчина большого живота. Видно: гордится пушечный командир. Хорошо у него получается. Махнёт рукой – падают в лес снаряды. Чередует газ со шрапнелью. А один снаряд угодил прямо в деревеньку Кипец по соседству с островом, и подбросило вверх деревянный домик вместе с удивившимися на крыше мальчишками.

– Чтоб тебе пусто было, – оглядываясь, зарычал Жеводанов. Очень не любил офицер дистанционную смерть.

Угроза не рассеялась в воздухе. Зацепил их прямой, совсем не корявый сук. Подтянул к себе, засунул в дупло, и колыхнулось по лесу опушечное эхо. Меж корней, старя листву, рвались снаряды с газом, а лес продолжал обдумывать слова, сказанные отступающим человеком.

Глава IX

Газ снесло вниз по течению. Тела на берегу лежали красные, обветренные. В обвалившейся землянке жутко выла позабытая баба. Она верещала на непонятном языке. На таком говорят речные чайки. Время от времени вскрикивала болотная кочка, когда в неё всаживали любопытный штык. В воронках со ржавой водой валялись разбитые зарядные ящики. Так уж водится на войне, что в воронках непременно должны валяться разбитые зарядные ящики. Разодранная лошадь отползла к бережку попить водицы, да не хватило пары вершков. Кобыла принадлежала Кикину.

Остатки банд скрылись в лесу. Так доложили Мезенцеву. Комиссар хмурился: дерево подступалось к дереву – не прострелить винтовочкой, не колупнуть штыком, только артиллерией взять и можно. Пушечному начальнику приказано было скорректировать огонь. Над головой провыли снаряды, и вдалеке, где взгляд поддевали хвойные пики, разорвалось жёлтое облачко.

– Потери?

К Мезенцеву шагнул Вальтер Рошке, подтянутый, как число до нужного знаменателя. Немец любил точность, логарифмы и когда неуверенную человеческую жизнь ломало прямое, арифметическое железо. Сверкали на лице круглые очки. Посмотрит на кого Рошке – вмиг все тайны узнает. Наряду с Евгением Верикайте тамбовский чекист замыкал революционную тройку, посланную на усмирение злобандитской Паревки.

– Семь убитых, двенадцать раненых.

– Что с пленными?

– Пара сотен. Точно ещё не сосчитали. Я приказал сформировать отряды и срочно отправить пленных в Сампурский концлагерь.

– Получается, нас девятнадцать человек пострадало?

– Так точно. – Рошке первому хотелось выразить сумму.

– Хорошо, – кивнул комиссар и носком сапога ткнул в закоптившегося от газа антоновца.

С лица полетела запёкшаяся шелуха. Хотел было ткнуть Мезенцев ещё куда, чтобы забыть о лютой головной боли, но Вальтер Рошке поправил командира: не хорошо, товарищ Мезенцев, а удовлетворительно. Антонов в глухой лес ушел. Опять три недели его ловить. Минимум.

Рошке не любил нечетные числа. Их было трудно делить, итог получался дробным, неравным, похожим на партии в упразднённой Государственной думе. Каждое число выделялось, хвасталось своей запятой и не хотело объединяться в единое целое. Трудно поверить, что такие мысли занимали голову человека, подсчитывающего обезображенные войной трупы. Да только Рошке в первую очередь был немцем, чего втайне стыдился, а потом уже кем-то ещё. Рошке стыдился за поволжское прошлое, в котором выписанные из-за границы сектанты-трудовики от зари до зари работали в поле, а затем отмаливали земляные грехи в аккуратной кирхе. И так из века в век, не отвлекаясь ни на токующую в траве дрофу, ни на малейший бунт, какой часто прокатывался по волжским степям. Из немецкой колонии передалась Рошке не только исполнительность, но и ненависть к тем, кто всю жизнь кланяется перед колоском. Ничего бессмысленнее чекист и представить не мог, поэтому, списывая оскорбление на акцент, полупрезрительно называл крестьян «крестьяшками». Мечтой его было превратить Тамбовскую губернию в индустриальный Рур, где после кандальной молодости познавал Вальтер азы рабочего движения. На полях виделись Рошке заводы, а вместо осевших изб с крестьяшками – удобные домики и люди в красивой униформе. Круг истории разомкнётся, образует прямую линию, и освобождённый народ начнет восхождение к великому зданию коммунизма.

– Товарищ комиссар, – крикнул прискакавший с батареи вестовой, – товарищ Клубничкин просит сообщить, что у него заканчиваются снаряды.

Рошке повернул сухую, ещё даже не тридцатилетнюю голову в сторону Змеиных лугов. Там ухала артиллерия. Он не любил начальника дивизиона из-за хохотливости, живота, похожего на сдобную булку, масляных усов, в общем, из-за того лавочного, купеческого вида, которому за чем-то доверили орудия, требующие знаний о благородных катетах. А ещё ненавидел Рошке саму фамилию Клубничкин, которая казалась ему издевательством над пролетариатом. Другое дело Беднов, Смолин, Головеров да вот хотя бы Мезенцев, которого Рошке почитал за строгость и выдержку, но... Клубничкин? Здесь же не randevu с барышнями! Не фельетон! А он, поди ж ты, Клубничкин.

– Согласен, – кивнул комиссар. – Всё равно толка нет.

Батарея затихла. Солдаты стаскивали в кучу погибших бандитов. Самые обезображенные тела Мезенцев приказал отвезти в Паревку, прямо к церкви, как напоминание о пагубности любого сопротивления. Пора было Паревке святыми мощами прибараклиться. В упряжи и подсумках копался обозник Федька Канюков. Он ловил уцелевших коней, присовокупляя их к общему табу. Мимоходом смотрел на трупы. Мёртвые лежали густо и без особого толка. Парню пришлось постараться, чтобы найти павших не зазря, а красиво, как будто напоследок люди не землю под собой раздвигали, а райские кущи. Рядом слонялись братья Купины. Известные близнецы-балагуры, лупоглазые, курносые, толстые, даже немножко раздутые, перехваченные для надёжности специальными ремнями. Сегодня братья в ближнем бою не участвовали – так, постреляли из пулемёта с шестисот шагов. Под конец войнушки лучше не подставляться: дома бабы овдовевшие ждут и поспевшие ягодки-сиротки.

– Малой, – в шутку крикнули Купины. – Ты баб, баб лови! Чего нам твои кони?

Федька схватил за узду лошадь, увязшую в яме, шепнул пару ласковых и помог животному выбраться из омут. Доброе дело понравилось. Улыбнулся Канюков ртом-веснушкой и покосился на командиров. Рошке суеты не одобрял, прикрикнул на Купиных, и тихого подвига не заметил. Мезенцев смотрел в бинокль то на лес, то на деревеньку Кипец. Рука сжимала обыкновенную тростинку. Комиссар срезал её, когда забрёл по колено в воду.

– В Кипец ушёл эскадрон?

– Так точно. Докладывают, что бандитов нет. Я обязан высказать предположение, что преступники знали об атаке. Их предупредили, поэтому они улизнули вместе с вожаком. Естественно, их предупредили паревцы. Согласно приказу сто семьдесят один, целесообразно применить меры высшей социальной защиты...

– Вот что, Вальтер, – ответил Мезенцев, – мы не можем решать такие вопросы без непосредственного командира. Без его подписи любой приказ недействителен. К слову, вы не задумывались, почему у Верикайте женская фамилия? Никак не могу взять в толк...

– Женская? – удивился Вальтер и почему-то подумал о себе.

Пистолетное имя у Рошке тоже было неспроста. Чекист носил в кобуре соответствующее инициалам оружие.

– Не обратили внимание? Странно... Впрочем, как бы вы, Вальтер, в разгар боя перебрались на тот берег?

Комиссар явно рассуждал о чём-то своём. Немец счёл это следствием мандража от первого за долгое время боя. Ещё в Тамбове, командирова Рошке к Верикайте и Мезенцеву, чекисту посоветовали смотреть за комиссаром: после ранения в голову тот страдал душевной тревогой.

– Не понимаю смысла задачи. Переплыл бы. В чём вопрос?

– А вот и неправильно, Рошке. Это же бандиты, а они всегда держатся за вожака. Случись что или измени он кому – сразу за ножи. Нельзя Антонову в воду. Не поняли бы. Особенно он не понял бы. Нет, Вальтер... Антонов с братцем, пока мы здесь лясы точили, сидели у нас под боком. А потом тихонько, когда всё улеглось, ушли.

– Где они сидели? – хмыкнул Рошке, – мы всё просмотрели. Я лично командовал.

– Под водой, в камышах сидели. А вот и пуповина.

Мезенцев протянул чекисту тростинку. Она оказалась полый. Через неё можно было свободно дышать.

– Почему вы так уверены?

– Какая смелость нужна, – продолжал Мезенцев, – чтобы спрятаться от нас у нас же на загровке!

– В таком случае блохи тоже очень храбрые, – заметил Рошке холоднее, чем нужно, – и почему вы так уверены, что Антоновы залезли, как вы выразились, к нам в холку? Вы считаете, что их побег моя вина? Что я неправильно организовал прочёсывание?

– Рошке, – Мезенцев поморщился от боли, – вас вообще невозможно ни в чём обвинить. Это даже пугает. Просто мне нравится, когда люди не бегут.

– Как они через это могли дышать? – спросил чекист, презирая тростинку.

– Мы такие трубки в детстве мастерили. Затаишься в зарослях и ждёшь, когда девки купаться прибегут. Визгу-то сколько потом. Прямо как тут, у нас. Люди всегда визжат.

Вальтер поправил очки:

– Мы так не делали.

И бросил тростинку на песок. Давить ногой не стал, дабы не показать раздражения. При чём тут глупые русские трубочки? Мы давим кулацкий мятеж! Рошке вырос с примесью немецкого масла, для него революция – часовой механизм, который надо почистить от пыли, отрегулировать, отладить, чтобы он начал биться, работать, свистеть, чтобы крутились жернова, а для этого надо ошкурить его от ржавчины, ржавчина же – это засохшая кровь. А тут срезанная трубочка, через которую целое повстанье дышало! Неужели правду сказали в тамбовской ЧК, что от войны голова Мезенцева окончательно раскололась?

Втайне от комиссара попробовал Рошке вытащить кончик травинки из стебля. Та заскрипела, не поддалась. Рошке дёрнул сильнее, и зелёная сабелька рассекла чекисту палец. Не дрогнув в лице, Вальтер приложил к пальцу платок, которым обычно протирал очки. Крови было немного, так, всего полосочка, но показалось Рошке, что разом уставилось на него всё болото: лопухие красноармейцы, трупы, сложенные штабелем, Мезенцев, кони, камыш с головастиками и неугомонные братья Купины, которые вот-вот заржут, прославив чекистский конфуз. Только никто и не думал смотреть в сторону образцового коммуниста Вальтера Рошке. Его и правда не в чем было обвинить. Рошке незаметно спрятал испачканный платок в карман.

Суета на болоте стихала. Федька Канюков доловил последних лошадей. Беременную кобылу с разодранным животом трогать не стал. Побоялся, что она может быть жива. Прозвучала команда строиться. Отряд двинулся в Паревку.

Дальнейшее Олег Мезенцев помнил с трудом. Забился под черепом крохотный белогвардейский шарик – тук-тук, тук-тук. Большого и светлого Мезенцева мутило. Он не мог понять почему. Может, ударился головой при крушении поезда? Или поранился в бою на болоте? Память с трудом подсказывала, что лоб трещал ещё на германском фронте. Или в голове засел осколок, подхваченный на перегороженных улицах Архангельска? Иногда Мезенцев полагал, что причина его страданий не физическая, что череп раскалывается лишь в минуты, требующие ясности сознания. Окружающий мир пульсировал, накатывал волной, сносящей человеческую гальку в багровый океан. Чудилось, что там кто-то плямкает веслами, словно ложка бьёт по тарелке с борщом. Плямк. Страшный детский каприз. Плямк-плямк. Добавки требуют. Его, Мезенцева, ждут. Если поддаться этой волне, комиссар увязнет в тёмной зовущей жиже или превратится в пульсирующий белый шарик. А потом вспыхнет, взорвётся. Как звезда.

– Товарищ комиссар, товарищ комиссар!

Мезенцева звали, потому что на батарее, через которую проезжала конница, Рошке схватился с Клубничкиным. Тот не приказал после стрельбы прочистить орудия оружейным салом,

за что получил замечание от бдительного немца, который в свою очередь был тут же послан куда-то в сторону Антонова. Балагуры Купины заготовили, а взбешённый Рошке с побелевшими от ненависти очками стал ощупывать германскую кобуру. Клубничкин, отличаясь не только богатырским здоровьем, но и умственной фантазией, выхватил артиллерийский шомпол и огрел им коня Рошке. Тот припустил галопом под хохот батареи: на исходе войны никто не любит её фанатиков.

В селе комиссар отмахнулся от Рошке, требовавшего жестоко наказать Паревку и Клубничкина, которому для начала следовало сменить фамилию на что-то более подобающее. Оклемався Мезенцев только к вечеру, когда его потащили на место убийства комбата. Из артиллериста как будто вынули душу: живот превратился в месиво. Дальше Мезенцева снова захватили фантомные боли. Он смутно помнил напыщенную речь на паперти, за многословие которой ему теперь было стыдно. Перед глазами возникли свеженькие трупы, которые он приказал расстрелять. Почему-то так и подумалось – приказал расстрелять трупы. Или одного повесили?

Сквозь вату в ушах пробился бабий плач и вызывающее мужское молчание. Мезенцев оглянулся и обнаружил, что стоит на приступке церкви, а в сторону Вороны с воплем убегает дурачок Гена. Федька Канюков, раскрыв рот, смотрит на внесудебную расправу. Трясущийся поп Коровин не может вымолвить ни слова. Вот улыбаются Купины, как будто рядом ещё стоит похабник Клубничкин, которого... точно... точно... пару часов назад нашли распотрошенным у кромки барских садов. Убийца сознался. Какой-то Гришка Селянский, знаменитость двух с половиной волостей.

Пожар в голове затих. Комиссар пришёл в себя и понял, что сегодня лето. Июль двадцать первого года. Перед ним плачут бабы и, злобно сжимая в душе кулаки, качается бородатое море. Холодность влилась в Мезенцева. В крови заискрилась поморская соль.

– Рядовые! – рявкнул комиссар, и к нему, перестав лыбиться, подлетели Купины. – С приписанным к вам по штату оружием на колокольню марш! – А затем: – Вальтер Рошке!

– Слушаю!

– Баб – налево, мужиков – направо. Красноармейцам оцепить... – он запнулся, не зная, как назвать церковный пятачок двадцать на двадцать метров, – оцепить площадь. Никого не выпускать и не выпускать. Ясно?!

Ах как запело от этих слов сердце Вальтера Рошке! Право! Лево! Это же строгие вектора! Это почувствовала и логарифмическая линейка, которая торчала у Рошке вместо позвоночника. Давно он ждал такого приказа, мечтая, что похожим металлическим голосом по новому, социалистическому радио будут зачитывать Гёте. Блеснули кругляши на глазах чекиста. Углядел он в лице комиссара марку лучшей немецкой стали.

– А ну, становись!

Мужики зароптали, но сгрудились мохнатой массой справа от церкви. Было их человек сто, а может, сто пятьдесят. Крестьяне были как на подбор: домовитые, суконные, привыкшие работать с утра до утра – нужно же одевать и кормить с десятков ребятишек. Несмотря на голодный год, по мужикам было видно, что они не голодают. Крестьяне ещё не понимали, зачем их собрали в кучу. А вот бабы пристально смотрели на девку Акульку. Та рыдала над трупом Гришки. Чувствовали женщины, что вскоре им пригодится эта премудрость. Игнатий Коровин, взглянув на небо, истово замолился.

– Попа к крестьяшкам плюсуем? – уточнил Рошке у Мезенцева.

– Слагайте.

Коровина втолкнули в гомонящую кучу мужиков, где он тут же перестал трястись. Одному в рай идти страшно – могут и не пропустить, а гуртом точно примут. Те, кто посмышлёней, подходили к батюшке поцеловать крест. Игнатий почувствовал неведомо откуда взявшуюся силушку. То ли сошла она с неба, запнувшись о крест на куполе, то ли передалась через приклады красноармейцев. А может, воспрял Коровин, потому что ни на секунду не пожалел о

закопанном в саду храмовом добре. О мешках с мукой, которые утопил в Вороне, о курочках, яйках и белоснежном гусе, принимавшихся от сельчан по праздникам, а чаще без них. Понял поп, что это лишь мирская суета, и стало Коровину совестно, что до седьмого пота заставлял трудиться юродивого Гену. Вот бы прощения у него попросить. Игнатий посмотрел на Гришку, валяющегося в пыли, и тоже перед ним извинился. Не хотел он предавать бандита. Просто испугался. Спросили бы Игнатия Захаровича про часы сейчас, он бы лишь усмехнулся – на, лучше сердце мое послушай.

Открылась священнику главная правда: жизнь нужно прожить так, чтобы стать Богом. Не в языческом, конечно, смысле, молнии и туча метает, а чтобы быть во всем подобным Христу. А он повелел прощать врагов. Коровин обвёл взглядом красноармейцев во главе с папертным комиссаром и попросил у них прощения. Посмотрел отец Игнатий и на сельчан. Маленькими они показались детьми. Он поспешил их обнять и приголубить. И так искренне заплакал от счастья, что заискрилась борода. С каждой слезинкой выкатывалось из Игнатия скоромное сало и сдобный каравай. Он худел прямо на глазах, готовясь к главному в жизни путешествию. С большой радостью зашептались слова молитвы. Возможно, священник и ещё бы что-то пережил, но на это просто не хватило времени. Даже занять подобающий вид у Игнатия Захаровича Коровина не получилось.

Мезенцев, подняв руку, крикнул:

– По кулакам-разбойникам, оказывающим помощь антоновским бандитам, пли!

Купины переглянулись – весельчакам немножко поплохело. Никто не сказал «с Богом»: слишком уж кошунственно вышло бы, однако каждый внутри перекрестился. Так, на всякий случай.

– Я сказал – пли! – прошептал Мезенцев.

Зачихал пулемёт, установленный на колокольне. Сытный получился расстрел. Первый Купин подавал ленту, а второй усердно, высунув красный рязанский язычок, косил собранных в кучу мужиков. Люди падали целыми гроздьями, утягивая на тот свет одного за другим. Сосед цеплялся за соседа, сын за отца, а тот подтягивал свояка. А все вместе они почему-то схватились за священника, которого никто при жизни не уважал, но вот тут, когда терять было уже нечего, признали мужики за Коровиным большую силу. Глядишь, могла она высвободиться, полететь над долинами и городами да оттолкнуть апостола Петра от райских врат: все вместе бы, несмотря на мучные дела, в рай попали. Только не дал развернуться силе обыкновенный пулемёт – лежал Коровин с развороченной грудиной так же мертво, как и остальные сельчане. Выживших, ставя жирные точки из вальтера, добивал Рошке. При каждом выстреле сухое лицо в круглых очках удовлетворенно вздрагивало. Так бывает, когда наконец решается простенькое уравнение, которое долго не хотело сходиться. Нельзя сказать, что Рошке получал садистическое наслаждение. Он не ненавидел и не любил убитых. Ему лишь нравилась точность пистолетного выстрела. Вокруг пальца чекиста был намотан красноватый лоскут.

Сквозь бабский вой Мезенцев прокричал:

– Личности расстрелянных установить. Имущество арестовать. Родственников в концентрационный лагерь. Мобилизовать бедноту и середняков на рытье общей могилы. Личному составу, за исключением часовых и охранения, после построиться здесь же. Рошке, командуйте!

Люди почувствовали большевистскую силу: бабы замолкли и покорно разбирали ещё теплых мужей – может, чтобы прижаться напоследок, а может, попробовать последних детей зачать. Купины спустили с колокольни пулемёт и теперь вертелись возле комиссара. До чего Верикайте крут, но такого себе никогда не позволял. Ну и комиссарище полку достался!

Через пару часов Мезенцев построил солдат шеренгой и коротко изложил то, что давно мучило голову:

– Антонов с остатком банды ушёл в лес за Кипцом. С ним раненые, причем раненные тяжело. Возможно, ранен и сам Антонов. Они тащат обозы с награбленным добром. Они могут выйти к любой деревне, выползти даже в Саратовскую губернию – и тогда война, новые жертвы, тогда то, что произошло сегодня, повторится. Не один и не два раза.

«И не три, – подумал про себя Рошке. – Четыре, четыре раза повторится».

– Мы обязаны броситься за Антоновым. Взять пару проводников, двадцать человек солдат, догнать банду и добить её. Отдаю себе отчёт, что воевать в лесу с партизанами – дело неблагодарное. Но их мало. Они разбиты, истекают кровью, устали, сам лес окружен нашими летучими отрядами, и если мы не сделаем этого в ближайшее время, бандиты вновь затаятся по схрамам. Рошке!

– Слушаю!

– К утру соберите команду. Не больше двадцати человек. Найдите проводника из местных. Лучше двух. Утром, в четыре часа, выступаем к реке Вороне, форсируем её и углубляемся в лес. Взять необходимого фуража и провианта на три-четыре дня. Пошлите вокруг леса дополнительные конные разъезды. Выполнять!

Что уж говорить, были красноармейцы невеселы. Мечтали пересидеть жаркое лето в относительно сытом селе, где сегодня стало на сотню бесхозных женщин больше. А тут неугомонный комиссар от незнания военной науки гонит людей в гиблый лес. Рошке, не снимая очков, осторожно протер платком линзы.

– Вы отдали этот приказ, потому что не можете дождаться, когда очнётся Верикайте? – спросил чекист.

– Совершенно верно. Ждать не можем. Уйдут.

– Знаете, о чем я жалею?

Мезенцев решил, что сейчас Вальтер начнет рассказывать об убитых. Комиссар навиделся подобных типов – они сначала лезут расстреливать, а потом стирают заляпанный френч и вспоминают: «Вот, помню, офицера кончал – так он смеялся, по плечу хлопнул. Молодец, достойно смерть принял, уважаю». Мезенцев считал это душевным изъяном. Смерть не должна быть тем, о чем можно написать мемуары. Это просто необходимость. Точно такая же, как чистка пистолета или ведение бухгалтерской тетради. Приход-вычет. Приговорённые записаны в столбик. Убитые – по горизонтали. Под красной чертой: «Итого». А эти разговоры... вроде же не было рядом барышень.

Комиссар приготовился пропустить мимо ушей рассуждения Рошке, но тот сказал:

– Жалею, что дурачок удрал.

– Вы что, его тоже хотели расстрелять? – удивился Мезенцев. – Умалишённые невинновы.

– Я о другом. Его нужно отправить на лечение в московскую больницу. Там бы к нему применили новейшую терапию, сводили бы в душ Шарко, осмотрели выписанные из Европы психоаналитики. Вы знаете, что такое психоанализ? Это классовый анализ, применённый к душе.

– Не пойму, Рошке, вы намекаете, что я поступил неправильно? Что мандаты надо было подписать, а потом стрелять? Хорошо. В следующий раз, обещаю, ни один кулак без подписи не умрёт. Довольны? Или доложите в тамбовскую чеку?

– Мне, собственно, индифферентно, – пожал плечами чекист, – хотя по правилам лучше с мандатами. Показательно, что мы обсуждаем не этическую сторону дела, правильно или нет расстреливать, а то, как это нужно было сделать. С мандатами или без? Этим мне нравится революция: у неё, знаете ли, даже сомнений в своей правоте не возникает. Это как тождество. И всё же, что вы думаете о том сумасшедшем?

Комиссар потер зудящий над бровью шрам и высыпал на ладонь пилули:

– Если вы хотите знать мое мнение – пусть лучше дурак кончится на воле, чем под психоанализом.

– Гм... Вы не знаете, что такое психоанализ? Понимаю. Направление новое, малоизвестное здесь.

Мезенцев не ответил. Снова забила лобная колика. Наверное, Психоанализ – это немецкий коммунист, возможно, давний товарищ Рошке. Поди теоретик того, чего никогда не видел. Нечего на это сказать. Сам потом всё поймёт.

– Пошевеливайтесь! – прикрикнул комиссар.

Рошке смотрел, как голосащие бабы перебирают умершее мужичьё. Выбирали они мужика получше, потолще, чтобы и хоронить было не стыдно, и могила вышла пожирней. На такую могилу сыновей можно привести, когда из повстанья вернутся. Подумалось Рошке, что крестьянки на ярмарке так же жадно роются в цветастых платках.

– Босх! – иронично заметил немец.

– При чем тут Бог? – удивлённо спросил Мезенцев.

Чекист постоял, тактично считая в небе шары раскаленного газа, а затем поспешил выполнять приказ. Вальтер Рошке был полностью удовлетворен. Оказалось, не знает комиссар ни про психоанализ, ни про Иеронима Босха. Улыбнулись очки. Уже дважды был отомщён порезанный о травинку палец.

Глава X

Хутор Семёна Абрамовича Цыркина расположился в укромном местечке. По Столыпинской реформе семитский мужичок выкроил участок земли у господского леса, куда и перевёз семью. Не из-за черты оседлости, а из цепкой паревской общины. Конечно, Цыркин не был иудеем. Он числился прихожанином паревской церкви, и его дети, которых у Семёна было пятеро, по домовым книгам считались православными. Когда они сгинули все, кроме единственной дочери, то и кресты поставили деревянные – такие же, как и другим солдатам, погибшим на германском фронте. Только вот никто не лежал в пустых могилах у паревской церкви. Далеко-далеко остались сыновья Семёна Абрамовича. Как ни хитрил Цыркин в первую революцию, когда в губернии полыхали помещичьи усадьбы, как ни скрывал своё неудобное происхождение, но не смог уберечь семью от беды.

– Помните, – говорил он детям, – русский человек – он, конечно, добрый, да только когда выпьет. Иначе – зашибёт.

В Паревке Семён Абрамович был неоднократно бит за чужую рожу и обильное трудолюбие, исключительное даже для зажиточного села. На отшибе хуторянин обзавёлся скотом, сеял зерно, брюкву, репу, однако основным промыслом Цыркина на долгие годы стала винокуренная. Поначалу промышлял бражкой, медовухой, ставил настойки. Развернувшись, попробовал гнать самогон, зелёное вино. По закону сдавал его государству. Платил налоги согласно акцизу и щедро поил всех, кто мог причинить Цыркиным вред. Вскоре к хутору потянулись подводы. Вино у Цыркина было не лучше того, что умели делать сами крестьяне, а в Тамбовской губернии косорыловку гнал каждый дурак, но все были уверены, что у жида к тому есть особые способности.

Всё чаще сдавали мужики зерно не в домашнюю ригу, а продавали Семёну Абрамовичу. Тот построил на хуторе небольшой заводик, дымок от которого в ясную погоду можно было различить из Паревки. Цыркин по-прежнему сдавал вино казне, хотя втайне от государства расширял промысел. Делец колесил по уезду, искал бандитские шинки и хитрых купчиков, готовых ради барышей обойти винную монополию. Заводик Цыркина год от года расширялся, а сам он богател. Батраков не нанимал – на что сыновья дадены? Вскоре поползли по уезду завистливые слухи, а за ними разного рода приказчики. Ревизоры уезжали с хутора лишь на следующий день. Да не одни, а с большой головой. Так худо-бедно вырастил винокур всех сыновей. Кого-то отдал в училище, кого-то в университет, кто-то остался помогать на хуторе, но, как ни странно, ни один из отпрысков не ушёл в революцию.

Многое изменилось с началом войны и введением сухого закона. Нет, чиновники так же опаивались самогоном, однако на фронте гибли целые дивизии и, как ни упрашивал Цыркин, сколько ни давал денег, чтобы в войска призывали увальней из Паревки, а не его деток, ничего не помогло. Сыновья винокура попали в пехоту, а значит, домой их ждать было нельзя. Университетский сын пошёл вольноопределяющимся. Семёну Абрамовичу было стыдно, что он не смог устроить деток в гимназию, дать математическое образование, тогда бы они служили в артиллерии, где вероятность не растерять ножки-ручки была повыше.

С тех пор Семён лелеял единственную дочку. В домовое имя её звали Серафима, а на хуторе – Симой. В семнадцатом году отец отрезал ей длинные волосы и наказал мазать лицо сажей, если к хутору подъезжали незваные гости. Времена пришли лихие, и дочку Семён Абрамович берёг пуще винного погреба. Опустошали его неоднократно – то красные, то зеленые, то кулаки из Паревки, а то и просто бесцветные люди. Семён Абрамович обеднел. Всё реже дымила труба винокурного заводика. И при большевиках было тяжело, и когда Кирсановский уезд лежал под Антоновым, и без борцов за народное счастье тоже приходилось несладко.

– Скажите, пожалуйста, – вежливо осведомлялся Цыркин, – мы слышали, что товарищи антоновцы не пьют. У них дисциплина и сухой закон. Так зачем же вам наше вино?

– Пить будем, дядя, – отвечали ополченцы и уезжали восвояси.

Цыркин оставался в недоумении. Он ожидал хлесткого ответа, хотя бы логичного объяснения, которое бы покрыло явную несправедливость, но всё оставалось глупым, как и многое в этой большой стране, до сих пор непонятной Семёну Абрамовичу. Он знал, что наказание за пьянство у Антонова строгое – от пятнадцати плетей до расстрела. Почему же каждый разъезд обдирает его как липку?

Семён Абрамович уходил в дом и усаживал напротив Симу:

– В конце концов, большевики грабят нас не больше, чем антоновцы, так почему говорят, что под ними будет хуже?

– Папа, – хлопала Сима черными ресницами, – так они же тебя повесят, как спекулянта.

– А эти повесят меня, как жида. А тебя насильничают.

Сима отводила взгляд и сутулилась. Ей целых семнадцать лет, и она успела начитаться привезенных из Тамбова книжек. Отец не догадывался, что Сима уже не могла видеть ни хутора, ни прижимистых паревских крестьян. Ей хотелось свободы, дороги и какого-нибудь города, где есть тайны, библиотеки и тот самый молодой человек. А власть? Власть зелёных или красных Серафиму не интересовала. Девушка вычитала, что власть не может быть справедливой. Особенно та власть, которая зовется народной. Да и Семён Абрамович любил повторять: «Когда власть есть, я её, как порядочный человек, презираю. Если же власти нет – меня тут же волокут к проруби».

– Папа, – предлагала Сима, – так давайте хоть раз этим... подсыпшем что-нибудь?.. Да лебеды, да отравы крысиной! Помрут, а мы в лес, прочь из губернии... да куда глаза глядят! Неужто вы не видите, что все они одинаково... плохие?

Цыркин молчал, вздрагивая в себя.

Шли месяцы. Антонов отступал в глубь Кирсановского уезда. Его молодцы по несколько раз на дню вламывались на хутор. В один из вечеров заехал к Семёну Абрамовичу красный разъезд из командира и двух солдат. С утра неподалёку, всего в нескольких верстах, гремела канонада, поэтому винокур ждал гостей. Кинул дочке тряпья на кровать, загнал мелкую живность в погреб, который вырыл в леске, туда же припрятал оставшееся зерно, а пойло, наоборот, взял под руку.

– Выходи, кулак! Зерно народное прячешь?!

Цыркин признал в краском тонкие семитские нотки, чему внутренне обрадовался. Сима была отправлена в дальнюю комнату, а гости потчеваны дефицитным спиртом.

– Что, Семён, – выпив, спросил гость, – гонишь самогон, когда половине губернии жрать нечего? Говори, где зерно берешь? Страна, мать твою, голодает! А ты – самогон?

Хозяин виновато затараторил:

– Что вы, что вы, товарищ! Я же вижу, что вы наш человек.

– В смысле – наш? – напрягся большевик, видимо, стесняющийся своих корней.

Те выпирали в нем не слишком живо, да приметно – в глазах навывкате, припухлых губах и пусть русых, но курчавых волосах.

– Ты хочешь сказать, что я брат спекулянту?

– Как же, ну как же вы такое могли подумать! Я же говорю, что вы тоже рабочий человек. А зерно мы ни у кого не брали. Сам выращивал, вот этими вот руками, смотрите прямо сюда! Продналог зерном в срок заплатил, а что осталось, так есть грех – пустил на вино. Могу квитанцию показать.

– Врешь! Я точно осведомлен, что бандиты тебе зерно сбывают, а ты его на водку пускаешь! Говори, заезжал к тебе кто-нибудь? На подводах? Своим ходом пришли? Что ты им дал? Отвечай!

– Что вы! Бандиты только и могут, что пограбить или погрозиться сжечь.

– За что сжечь? Ты же, тварь, заодно с ними.

– За то, что жид. Понимаете, товарищ, они жидов страсть как не любят. Никаких дел с жидами иметь не хотят. А сегодня никого не было, я вам прямо клянусь.

Цыркин осторожно убрал чарку и поставил вместо неё глиняную кружку и полштофа. Он почаще повторял слово «жид», от которого гость хмурился, подозревая, что и его антоновцы могут повесить по кровному признаку.

– Кулаки... – наконец выдохнул командир и кивнул Семёну: – Отнеси бойцам черпачок.

– Стоит вам только сказать!

Хуторянин привык к пьяным налётам. Сегодня антоновцы, завтра красные, потом просто бандиты, на Святки большевики-бандиты, через неделю антоновцы-коммунисты, потом белые-социалисты и черт бы побрал кто ещё! Для Цыркина вооруженные люди всегда были на одно лицо: все они принимались, чуя женскую плоть, и всех хозяин пытался побыстрее напоить. Но, чистая правда, ни вчера, ни сегодня никакие антоновцы или другие бандиты к Семёну Абрамовичу не заглядывали.

Когда большевик порядочно захмелел и всё чаще подпирал рукой клюющую голову, Цыркин решил поинтересоваться:

– Товарищ офицер, а что с Антоновым? С утра перестрелку было слышать.

– Какой я тебе офицер... А-а-а... за своего защитника тревожишься?! – Рука потянулась к шашке.

– Что вы, что вы! Хочу знать, покончили ли с кулаками. Они мне в Паревке шагу ступить не давали.

Военный, выпив ещё кружку, поведал хуторянину про лихую конную атаку на болотный лагерь, которую, конечно же, возглавил лично он. Про страшную мясорубку, после которой бандиты бросились к реке Вороне, а он, скромный солдат революции, следовал за ними и рубил, рубил, рубил. Коммунист махал рукой вместе с кружкой, и самогон лился на деревянный стол, как скучная, серая кровь. Затем размахнулся и кокнул о стену пустую бутылку. Так, по его словам, бандитов разрывали снаряды. На столе тут же появился непечатый штоф.

Пьянка длилась долго. Цыркин передохнул и прислушался. Солдаты во дворе странно копошились и подгагивали.

– Получается, – спросил Семён с надеждой, – Антонов убит?

– Не-е... Удрал, с-собака. Ищем. Может, ты его прячешь, а?!

– Зачем же господин-товарищ так думает? Они же жидов вместо фонарей вешают.

На дворе не забрехала собака (ее давно пристрелила очередная банда), но Семён Абрамович сразу почувствовал, что на хутор пожаловал кто-то ещё. Ноги окоченели. Хоть сейчас на холодец. Вот-вот войдёт в хату смутно знакомый антоновец, крикнет Цыркину как старому другу, потребует зычно вина, и к утру кончится жизнь Семёна Абрамовича Цыркина вместе с жизнью дорогой Симочки. Украдкой он заглянул в комнатушку дочери, однако никого там не нашел. «Прячется, – обрадовался отец. – Правильно, в погребе всё пересидеть можно».

Со двора донеслись пьяные крики. Сначала протестующие, почти испуганные, затем, когда кто-то с кем-то чокнулся, вполне миролюбивые.

– Семён, кто это там к тебе?

Пьяная рука искала револьвер, но находила то цибулю, то огурец. Дверь распахнулась, и в хату шагнул грязный, косматый и явно голодный человек. Он снял с головы сваливавшуюся казачью папаху и устался на окосевшего коммуниста:

– А Семён где?

Тот указал оружием в угол. Винокур сидел, покорно сложив руки на коленках.

– А это кто? – спросил вошедший у Цыркина, кивнув на размякшую пьянь.

– Это... уважаемый человек, большевик из Паревки.

Ожидалась перестрелка, но гость же бухнулся за стол и прогудел:

– Там мои хлопцы с твоими во дворе устроились. А чего нет? Один хрен – война окончена. Надо теперича хоть пожрать как следует. Корячем?

– А? – не понял большевик.

– Ну, дерябнем?

– Выпьем, что ли?

– Да, чеколдыкнем!

– А давай! Думаешь, забоялся? А вот хрен тебе! Нас не попужаешь!

Антоновец глотнул из чужой кружки и прорычал:

– Чего встал, неси шкалик! Выпьем за упокой. Перестреляли сегодня пол-Паревки!

– Это какую половину? – восторженно воскликнул большевик. – Не так было! Уконтрапутили спекулянтов и кулаков. Какая половина?! Бедноту с середняками не трогали! Врешь, собака! Я тебе, падла, за это!..

– Да какая хрен разница? Половина или полста? Это их потом считать начнут. А ну, Семён, неси, не жмись! Выпьем вот с новым знакомым. Поспорим об арифметике.

Коммунист злобно вылутился на незваного гостя, но не стрелял. Может, был уже слишком пьян, может, боялся последствий, не зная, сколько за порогом бойцов – ни одного или двадцать. Наконец он прошипел:

– Ты кто...?

– Кто-кто... Хрен с грядки! Из леса я. Дезертировал на вольные хлеба. Не враг я тебе больше. Да ты не кипятись! Давай выпьем. Ты ж такой же человек, как и я.

– А-а, хрен с тобой! Наливай!

Чокнулись, распили. Со двора грянул хохот, и было велено вынести бойцам ещё полштофа. Когда Цыркин вернулся, командиры вовсю пьянствовали. С голодухи антоновца разобрало так же крепко, как и большевика. Тот смотрел на врага без ненависти, однако с укором, мол, ты же неплохой на самом деле человек, зачем заставлял себя ловить два года? Бандит больше налегал на картошку, макая её в крупную жёлтую соль. Картошка приятно скрипела на зубах, и большевик чувствовал к противнику понятную боевую нежность, какая бывает у тех, кто долго друг с другом воевал.

– Скажи-ка, а почему ваши наших мучают? Ставят в ряд и стреляют, как по бутылкам. В какую деревню ни заехать – а там мы с табличками на шее болтаемся. Отчего так?

– А вы почему нас убиваете? Уши корнаете, языки, чашечки коленные вырезаете? И к дереву приколачиваете. Ну ладно меня, понимаю... есть за что, но молодых сопляков? Они же жизни не нюхали, а вы их к дереву!

– Так это мы только тех мучаем, кто народ мучал. Вот.

– А мы что, из невинных ремни режем?! Тоже всё ради народа.

– Русского?

– Русского! А ты русский?

– Русский.

– И я. Порой своих бойцов послушаю, а потом к пленным иду... и, хоть убей, не могу понять, где свои, а где чужие. Одна ряха, говор один. Ты вот как со своими разбираешься?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.